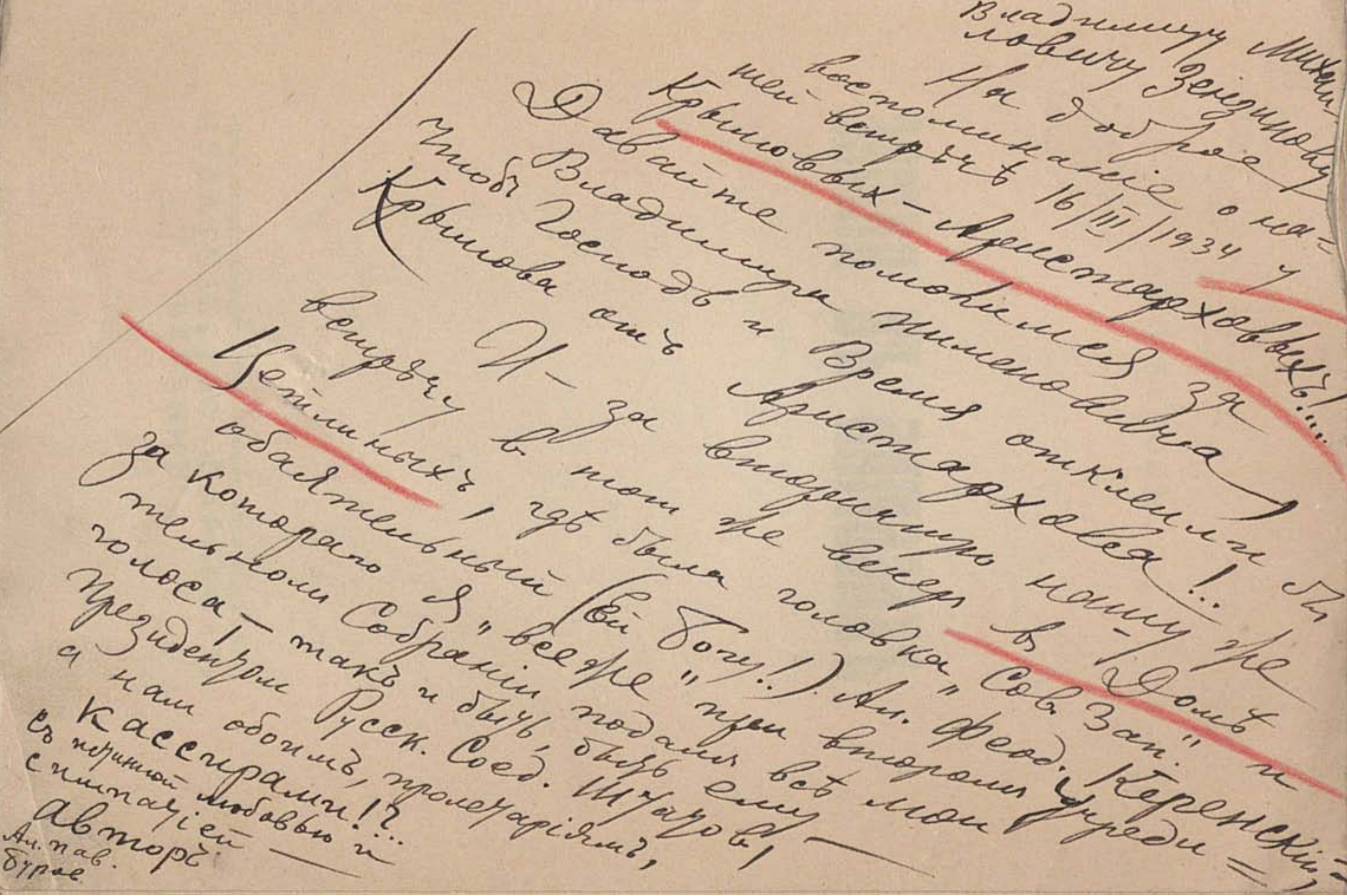
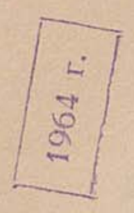
АЛЕКСАНДРЪ БУРОВЪ

ЗЕМЛЯ ВЪ АЛМАЗАХЪ

„ПАРАБОЛА"


Владимиру Михай-
ловичу Зензинову /
На доброе
воспоминанiе о на-
шей встрѣчѣ 16/III/1934 г /
Кривцовыхъ — Аристарховыхъ!....
Давайте помолимся за
Владимира Жимоновича
Чтобъ Господь и Время отклеили
Кривцова отъ Аристархова!.. Въ
И — за вторниковую нашу же
встрѣчу въ томъ же вечеръ въ „Домъ"
Цетлиныхъ, гдѣ была головка „Сов. Зап." и
обаятельный (ей Богу!..) Ан. Феод. Керенскiй
за котораго Я „все же" при второмъ Учреди-
тельномъ Собранiи подалъ всѣ мои
голоса! — такъ и быть, бывъ ему
Президентомъ Русск. Соед. Штатовъ,
а намъ обоимъ, пролетарiямъ,
Кассирами!?..
съ нѣжной любовью и
съ симпатiей
Авторъ —
Ан. Пав. Буров



А. П. БУРОВЪ

ЗЕМЛЯ ВЪ АЛМАЗАХЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРАБОЛА»
БЕРЛИНЪ

Buchdruckerei Speer & Schmidt, Berlin SW 68

Блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся.

Блаженны изгнанные за правду, ибо ихъ есть царство небесное.

(Мат. 5. 3-10).

ПРЕДИСЛОВІЕ

Жизнь русскихъ зарубежныхъ поселенцевъ, этихъ невольныхъ «колонистовъ» чужого, поневолѣ открытаго ими міра, разсѣянныхъ по всему лицу земли, въ Европѣ и за океанами, — приложите ухо къ землѣ! — эта жизнь, безъ былого шума и безъ былой яркой боли, идетъ какъ будто на убыль, на отмираніе, на покой.

И станъ уже не тотъ, точно безпозвоночный, и дыханіе робкое, не во всю грудь, такое, чтобъ только не остаться безъ воздуха, и рѣчь негромкая, точно боится быть услышанной. . .

Только думы остались. Думы мои, думы! . .

Горятъ эти думы въ безмолвномъ, вопрошающемъ взорѣ. Ищутъ выраженія, ищутъ отклика, отвѣта.

Такъ кажется. Но это не такъ.

Гдѣ-то рядомъ, — я чую, ощущаю, почти вижу, — совсѣмъ ужъ близко, въ мукахъ рождается, высвобождается, складывается «новый человѣкъ».

Онъ пока только призракъ, только эмбріонъ. Но уже можно предчувствовать, какой онъ, этотъ новый, идущій въ міръ.

Это не человѣкъ отъ монополіи пышной и пустой словесности. За то онъ во много разъ независимѣй и свободнѣй. Онъ высвобождается отъ старыхъ, обветшалыхъ, интеллигентскихъ покрововъ. У него еще нѣтъ искусства управлять словомъ. Его слово грубо, какъ короткій ударъ молота, и рѣзко, какъ древняго закала сталь. Онъ пока еще не законченная личность, не «герой». Но изъ такихъ выходятъ герои. Изъ сумбура понятій возникшій, въ сумбурѣ безволія и прострацiи задыхающійся, онъ пока только учится слушать, впитывать и думать. Онъ только внемлетъ тягѣ земной, набирается отъ нея живой силы. Дайте ему только время созрѣть. Онъ совсѣмъ близко отъ насъ, онъ среди насъ.

Онъ выростетъ, онъ окрѣпнетъ, онъ идетъ. Именно онъ напомнитъ намъ о нашей былой, славной жертвенности, о нашемъ долгѣ. Именно онъ не остановится передъ трудностями. Именно онъ укажетъ намъ путь искупленія, ибо не испили мы еще до конца чаши, — напомнитъ намъ Голгофу нашу, нашъ —

«Пономаренковъ путь.»

Авторъ.

«СЛЫШИШЬ ЛИ, БАТЬКО»?

... «Не должно быть секретомъ, что писатель, заинтересованный въ отзывѣ о своей книгѣ, долженъ самъ «устраивать» этотъ отзывъ... доступно это, конечно, далеко не всѣмъ, а приводитъ къ тому, что *читатель вообще перестаетъ довѣрять рецензіямъ*.»

Мих. Осоргинъ
«Сов. Зап.» № 54, стр. 388.

«Братъ-Писатель»! ... Какъ это мило, что Вы обронили нѣсколько «дерзкихъ», но — горестныхъ, специфически зарубежныхъ истинъ. Если бы не мои докучливые, обойденные сироты, я не сталъ бы утруждать ни читателя, ни писателя моей Wenigkeit. Ваше признаніе, о которомъ, впро-

чемъ, давно уже догадываются читатели, сняло съ меня нѣкоторую долю отвѣтственности, смягчило муки, причиняемыя мнѣ моими вопрошающими «героями», многочисленными т и п а м и изъ моей четырехтомной книжной галлереи.

Любезные читатели, абсолютно мнѣ незнакомые, писали мнѣ, что «герои мои изъ крови и тѣла Россіи, печальные люди-призраки умученнаго зарубежья, продолжающіе все еще нести въ сердцѣ своемъ Голгоѳу свою, это вѣщее слово — Россія.»

Прослышали они, «герои» мои, про эти письма и — обычно такіе скромные, кроткіе, безропотные — вдругъ «возгордились» и — запротестовали: — Слышишь ли, батько, — вопіютъ они, приникая къ моему изголовью, забираясь ко мнѣ на грудь, и кулачками стучатъ, царапаются, — слышишь ли, батько? Заступись и ты за насъ!.. Разъ далъ ты намъ жизнь, не давай же погибнуть безпризорными, съ нансеновскими паспортами. Не хотимъ забвенія, долженъ и ты *«устроить»* насъ, какъ втихомолку дѣдаютъ э т о другіе, такіе искусники «обрабатывать» нужнаго имъ обозрѣвателя...»

Не повѣрите, дорогія читательницы, до чего мнѣ больно слушать такіе упре-

ки и намеки, точно стекломъ по груди... Окончательно вышли «герои» мои изъ повиновенія.

— Тебѣ, батько, за насъ краснѣть не придется, мы далеко не хуже и ужъ во всякомъ случаѣ теплѣе, человѣчнѣе мы многихъ другихъ самоновѣйшихъ героевъ, «дряхлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ.» Знаемъ мы, батько, сколько горькихъ гоголевскихъ слезъ (въ смѣхѣ) пролилъ ты надъ нашей колыбелью и — не сердись, непосвященнымъ не разскажемъ, какъ по ночамъ часто молился ты и рыдалъ надъ нами, бездомными, блудными сынами великой, «освобожденной», запропастившейся отчизны. Оставь, батько, твою щепетильность и тихую гордость, постучись, «устрой», — скромность въ эмиграціи — вѣрная смерть, а ты за насъ на томъ свѣтѣ отвѣчать будешь! Слышишь ли, батько? Мы вѣдь не просимъ какой-нибудь хвалебной, балканской, литературной болтовни вродѣ: «Иронія Тэффи родственна Сирину» *) (О Господи, Господи!..) — нѣтъ,

*) Одинъ изъ перловъ художественной «критики» на страницахъ парижскихъ толстыхъ журналовъ... Сиринъ, — иронія — Тэффи?!.. Въ огородѣ бузина, а въ Кіевѣ дядька.

мы требуемъ только пустяшной добросовѣстности и пониманія, не злостныхъ выискиваній блошекъ, не «неглиже съ отвагой», а джентльменской совѣстливости. Заступись же за насъ, «*устрой*» насъ!..

Легко сказать «устрой», — «*доступно это, конечно, не каждому*»...

Войдите же въ мое положеніе, сострадательныя читательницы, — къ читателямъ не обращаюсь, — имъ, бѣднымъ, некогда, дни и ночи въ хлопотахъ ради хлѣба, ради угла, — что могу я отвѣтить, въ оправданіе мое, моимъ обойденнымъ сиротамъ?

— Чего же ты молчишь, батько? Прояви же иниціативу, закричи подобно Зола: «обвиняю», — будь *мужчиной*. Наконецъ, прочти хоть разъ нѣсколько номеровъ «Критики и библіографіи», — не похожи ли всѣ рецензіи на бюллетени «Взаимнострахового хвалебно-погребальнаго братства»? Сегодня я о тебѣ, а черезъ три мѣсяца ты обо мнѣ... Батько, слышишь ли, батько? Запротестуй же, заступись за старые, добрые, русскіе, литературные нравы... Больно и намъ за тебя, какой ты грустный... Нехорошо: ты первый услышалъ, увидѣлъ насъ, невидимыхъ глазу, и сразу кусочекъ

твоей жизни отдалъ ты намъ, — гордо и по праву долженъ насъ отстаивать и стоять за насъ. Ну, веселѣй же гляди, улыбнись...

Вотъ такъ, предъ каждымъ появленіемъ новой книги, мучаютъ, пытаютъ они меня: «устрой» да «устрой», и прошу я васъ, прелестныя читательницы, повѣрить, не мало шлепанцевъ получаютъ мои сироты за невоспитанныя рѣчи, — раскудахтались, — есть изъ-за чего?! .. Пробовалъ я всячески утѣшать, доказывать, оправдываться — ничего не помогало. Но, когда, на этихъ дняхъ, я выстроилъ моихъ «героевъ» въ рядъ и прочиталъ имъ изъ фельетона Г. А.: «*уцѣлѣваетъ во времени только то, что оживлено и согрѣто извнутри личнымъ огнемъ, и «безсмертіе только этой цѣной покупается*», и далѣе — мѣткое замѣчаніе одного академика, что «никакія инспирированныя похвальныя статьи искусно обрабатываемого критика не спасутъ зарегистрированнаго бездарнаго писателя отъ забвенія», — ребята мои, мои «герои» какъ будто умолкли. Однако, не надолго. Одинъ изъ моихъ «мужиковъ», Сѣриковъ. («Мужикъ и три собаки», Числа № 9) прямо обрушился на меня...

— Вы мнѣ, батько, «зубы не заговари-

вайте»! .. Урывками писали, создавали вы меня не девять, а одиннадцать мѣсяцевъ! И патріархи-писатели, и даже «самъ» поздравляли вас ъ съ успѣхомъ, а вотъ «о н и», двумя всего строчками, взяли да и облаяли васъ. Если бы еще какой-нибудь «Мухинъ» такъ поступилъ, а то вѣдь — прямой, подростающій потомокъ Бѣлинскаго, этакій Георгій Виссаріоновичъ? .. Стыдно, что и говорить. Обидно за васъ, батько! ..

Ну-съ, чѣмъ унять, утихомирить этого зазнавшагося Сѣрикова, голову что ли отъ новаго семейнаго счастья потерявшаго? ..

— Послушай-ка ты, одиннадцатимѣсячникъ, — урезонивалъ я его. Совѣтую тебѣ, и запомни — въ несчастьѣ, голову все ниже и ниже, а работать упорнѣй и упорнѣй дальше. «Ты царь, живи одинъ», — пробовалъ я польстить ему. — И какіе ужъ тутъ протесты, говорю, когда нашего величайшаго повѣствователя, нашего драгоцѣннѣйшаго р у с с к а г о писателя, Ивана Алексѣевича Бунина «о н и» замалчивали, просто прозѣвали, и спохватились-проснулись лишь — аккуратно — наканунѣ 9-го ноября 1933 года, когда ужъ вѣчевой

нобелевскій колоколъ сталъ давать пробные удары и — наконецъ, подлинную «Славу» ему, достойнѣйшему лауреату, на весь міръ прозвонилъ. Куда же намъ? Гдѣ ужъ!.. Что ужъ!..

И — очаровательныя читательницы, — свершилось чудо: «герои» мои на колѣни опустились, и такъ ласково, гладя мнѣ *правую* руку, съ такой любовью заглядывали мнѣ въ мои старческіе, слезящіеся глаза. . .

— И славно же ты, батько, говоришь! Съ одинокими Господь. Ты только духомъ не падай, а сходи къ Парижскому Раввину, еще лучше, къ самому Папѣ нашего нансеновскаго зарубежья... сходи, батько, къ самому Павлу Николаевичу Рыбакову. Онъ все знаетъ, все чудесно понимаетъ. Или, наконецъ, пошли прошеніе въ «Кочевье», тамъ сразу, еще при жизни, посвятятъ тебѣ, вечеръ и поднесутъ тебѣ, что ты, батько. . . и отъ мистики, и отъ Штейнера, и отъ Прустмана, и отъ Джойсмановича. Право же, батько, поговори со старостой отъ «Кочевья»... Опыть ты, милый, плачешь?! . . Ну, ладно, не надо, будетъ, проживемъ и безъ *«нихъ»*.

Я

Такъ-то, уважаемый Михаилъ Андреевичъ, «братъ-писатель»! . .

Ни бѣды, ни грѣха нѣтъ въ томъ, что иной критикъ молчаніемъ удостаиваетъ того или другого писателя. Но — русская литература — все что у насъ еще осталось — *сіе мѣсто свято! . .*

И тяжкій грѣхъ предъ ней, личное оскорбленіе истиннымъ жрецамъ ея, когда патентованные бездарные писатели, подолгу искусно обрабатывая нужнаго имъ обозрѣвателя литературы, срываютъ наконецъ, усмѣхаясь и глумясь, такіе дифирамбы, какихъ не удостаивались и корифеи русской литературы ни при жизни, ни послѣ кончины!? . . . Вотъ гдѣ ложь и позоръ.

Но «обработанный» обозрѣватель и прославленная бездарность забываютъ, что не оглушить, не одурачить имъ ни будущаго Нестора Русской Литературы, ни — чуткаго читателя.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности

Александръ Павловичъ Буровъ.

Февраль 1934 г.

Парижъ.

ОДИНОКІЕ СКАЗОЧНИКИ.

«Есть еще судьи в Букстеудѣ»
(поговорка)

«. . . Надъ вымысломъ слезами обольюсь». . .

Сидятъ. Если посадили, должны сидѣть. Разрѣшается и протестовать, сидѣть все таки надо. Хорошо, если тюрьма построена по всѣмъ правиламъ взаимной безопасности. Но имѣются города съ населеніемъ не больше двухъ тысячъ семисотъ жителей, и тюрьма тамъ еще глинобитная, нежилая, подобіе отставленной, давно заброшенной казармы, со стѣнами въ полтора метра и съ низкими, сырыми, въ ржавыхъ капляхъ, потолками. . . Мѣстные тамъ не содержатся, сажать не-

кого, городокъ сразу опустѣетъ. . . Водворили туда какихъ-то странныхъ людей. На одной протокольной бумаженкѣ даже прочитать можно: «lästige Ausländer» — тягостные иностранцы. И не видятъ подсудимые не то что неба въ алмазахъ, — ни восхода, ни заката. И нары не по нимъ. Даже не сидятъ. Вынуждены лежать. Такіе ужъ туда подсудимые попали. Человѣку же положено днемъ пребывать въ вертикальномъ положеніи, ночью — въ горизонтальномъ. Наоборотъ было бы неудобно. Только въ исключительныхъ, можно сказать, стихійныхъ случаяхъ человѣкъ вынужденъ, не очень часто и не подолгу, работать лежа. Но — это ужъ не работа за плату, а работа отъ безработицы, и коэффиціентъ полезнаго дѣйствія обычно ничтожный. . . Спать же стоя — отвратительно, и притомъ спина и ноги быстро затекаютъ. . . Эти «lästige Ausländer» лежатъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, дожидаются суда, и думы ихъ безустанно работаютъ. Думы въ любомъ положеніи человѣка сушатъ мозгъ, — мыслью-молніей уносятся въ родные края. . . въ серебристые, ковальные просторы и степи. Что удивительнаго, если теперь обитатели этихъ далекихъ степей, попавъ въ тюремную камеру, полузабытыми стихами часто, хоть на время, тоску отводятъ? . .

Въ камерѣ всего одинъ, дѣтскаго діаметра, стулъ, съ холодно-желѣзнымъ кругомъ, на трехъ изогнутыхъ прутьяхъ. И вахмистръ Микула Пе-

ребейносъ, и хорунжій Еруслань Локоть давно свои нары такъ прогнули, что нижнему арестанту мѣста не хватило бы, кованый же стульчикъ не то что для сидѣнья, онъ и для ступни казака малъ. Только третій подсудимый, Братолюбовъ, Инокентій Пименовичъ, съ верхней койки, что подъ самымъ сводомъ въ водяныхъ алмазахъ, — худощавый, въ большихъ роговыхъ, вѣчно потныхъ очкахъ, съ влажными, изсиня-черными, вопрошающими глазами, — только онъ одинъ можетъ усѣсться на этомъ стулѣ. Однако, неловко самому сидѣть, когда его труппа, артисты-великаны лежатъ, вынуждены скорченные лежать, — ни по длинѣ, ни по объему не пришлись имъ эти нары... Жалостливо и любовно поглядываетъ Братолюбовъ съ верхней койки на своихъ великановъ, мысленно сравнивая ихъ съ легендарными Микулой Селяниновичемъ и Еруслановъ Лазаревичемъ... Не люди и не звѣри. Одна сенсація.

— Тоже тюрьма!... Тюрьма для европейскихъ карликовъ, а не для русскаго казака...

И лежатъ они на своихъ нарахъ, другъ надъ другомъ, въ городкѣ подъ Гамбургомъ, и деньденьской высчитываютъ, гадаютъ, вспоминаютъ, иной разъ жалобно напѣваютъ, и пѣсня ихъ въ сумеркахъ, точно тихое моленіе, точно безропотный плачъ старинныхъ, тайну таящихъ, донскихъ степей и кургановъ.

Сидятъ. Точно позабыли всѣ о нихъ. Забрали

еще въ октябрѣ, прямо со сцены, въ самомъ разгарѣ представленія. Возили ихъ куда-то раза три на допросъ, а потомъ позабыли... Перебираютъ подсудимые такіе же печальные случаи и съ другими людьми, — въ какой странѣ не случается убійство? — и приходятъ къ заключенію, что и имъ за убійство «непремѣнно накладутъ по закону» годовъ десять каторги. Достаточно. Отъ судьбы не уйдешь. Только бы не освободили ихъ зимой, въ стужу, въ декабрѣ!...

Кому нужна воля въ декабрѣ?...

Къ веснѣ иное дѣло, а къ лѣту и никакая свобода не страшна. Къ лѣту!... О, эти подсудимые знаютъ, помнятъ лѣто въ своемъ краю, во снѣ видятъ они этотъ край!.. И какъ часто просятъ они другъ друга «лучше вслухъ не поминать... душа разойдется»... И все же, каждый про себя, и не въ должномъ порядкѣ, какъ давно позабытую молитву, то одинъ, то другой начинаетъ размѣренно шептать, нашептывать...

«Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышетъ,
Гдѣ рѣки льются чаще серебра,
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ,
Въ вишневыхъ рощ . . . . ».

Но вотъ ужъ голосъ у Перебейноса осѣкся, что-то булькнуло въ горлѣ... А вахмистръ Локоть, такъ «по братски» недавно еще просившій «не поминать», невольно заступаетъ, продолжаетъ по дѣтски, звонко и молитвенно...

«Туда, туда всѣмъ сердцемъ я стремлюся,

Туда, гдѣ сердцу было такъ легко,
Гдѣ изъ цвѣтовъ вѣнокъ плететъ Маруся,
О старинѣ поетъ слѣ . . . . ».

Остановился, оборвалъ, что-то хлюпнуло въ груди. . . и закончилъ торжественно и тихо Братолюбовъ:

. . . «И въ Божій храмъ, увѣнчанный цвѣтами,
Идутъ казачки пестрыми рядами. . . .».

И входили тогда, въ эти минуты, въ камеру душевная оттепель, услада и покой на всю долгую, безсонную ночь. . .

— Къ лѣту, оно конечно, никакая свобода не страшна. . .

Тогда и птицѣ бездомной, и человѣку, по странамъ чужимъ бредущему, и букашкѣ всякой, что кому, понастелетъ повсюду Господь изумрудно-зеленыхъ ковровъ, бѣлорозовымъ цвѣтомъ листву опушитъ, кистью незримой поведетъ, и поля, и долины цвѣтами радужными запестрѣютъ, а духомъ Своимъ живымъ дунетъ, — и вѣнчанная земля, и рѣки, и моря, и путники бездомные, каждое дыханіе по своему, на всѣхъ языкахъ, «Коль славенъ» Ему поетъ.. . Есть въ ту пору, гдѣ запыленному человѣку къ ночи голову преклонить. Да и много ли человѣку вообще мѣста надо? . . Забрался, гдѣ нѣтъ никого, растянулся на зеленомъ откосѣ, поближе къ водѣ, къ озеру, и гляди себѣ въ густую синеву небосвода, вбирай въ себя Божій міръ. . . А съ зарей принялъ странникъ, съ открытыми чреслами, освѣжительную ванну,

плюхнулся прямо въ оранжево-солнечную гладь, погрѣлся въ адамовой пижамѣ на солнцепекѣ, и простыни не надо, здоровъ и сухъ. Къ лѣту каждое твореніе находитъ себѣ мѣсто.

Въ декабрѣ другое. «Рацціа» это у нихъ, въ Берлинѣ, называется... Ночью, совершенно неожиданно, «ловко, точно нарочно», нагрянутъ въ каскахъ, съ глазомъ во лбу, люди, загребутъ человѣкъ сорокъ «голодранцевъ», штановъ собрать не успѣешь, а къ утру, послѣ фильтраціи и безобидныхъ подзатыльниковъ, выпустятъ на всѣ четыре стороны: — «проваливай и не попадайся на общественныхъ аллеяхъ»... А какія же это, позвольте спросить, общественныя, если человѣку даже на травкѣ полежать нельзя? Что-же Гайдпаркъ хуже Тиргартена?...

— Ruhe!... Mund halten!... Nun, mein Lieber, nie wiedersehen, — слышатъ на прощаніе уже совсѣмъ добродушныя слова сыны шестой части свѣта...

Нѣтъ. Если ихъ когда-нибудь освободятъ зимою, въ морозъ и стужу, они добровольно каторги не оставятъ... Все испробовали...

— Ни за что на волю въ декабрѣ!

— А что хорошаго въ октябрѣ? — точно что-то укусило Микулу Перебейноса.

— И то правда, — послѣ нѣкотораго раздумья возразилъ, больше про себя, Еруслан Локоть, — шо и мараковать. Съ каждымъ человѣкомъ несчастье случиться можетъ, а съ русскимъ вся-

кая пакость только въ октябрѣ и приключается.

Навѣщаетъ подсудимыхъ защитникъ по назначенію, Max Kleinsilber, и приводитъ онъ съ собою мѣстечковаго, тоже случайно осѣвшаго въ этомъ захолустьѣ переводчика Давида Бирнбаума. И каждый разъ, при входѣ въ камеру, этотъ защитникъ, бывшій съ 1916 года въ русскомъ плѣну, по дружески, шумно и больно, хлопаетъ своихъ «камрадовъ» по плечу, неестественно громко смѣется, часто повторяетъ «широка натура» и неизмѣнно справляется, «какъ пошивайтъ русскій голіафенъ»...

Адвокатъ давно уяснилъ себѣ побужденія и мотивы, какъ и всѣ детали самого убійства, отмахивается онъ отъ все новыхъ и новыхъ разъясненій. Зато часто вспоминаетъ и «Фолгу», и «Фологду», и «пильмэны»... Онъ такъ участливо и съ искренней симпатіей ободряетъ, успокаиваетъ своихъ подзащитныхъ, — разыскалъ даже рядъ статей — «дѣло, молъ, при смягчающихъ обстоятельствахъ, кончится какими-нибудь шестью годами каторги», а не десятью, какъ полагаютъ сами «голіафы», и не «пустяшными тремя», какъ успѣлъ шепнуть имъ жалостливый переводчикъ Бирнбаумъ. Жалко тому своихъ. Если бы у Бирнбаума на то власть была, освободилъ бы онъ ихъ немедленно, ибо «они хоть и великаны, но какъ дите малое»...

— Keine Angst, meine Kameraden!... Мы, нѣмцы, казаковъ любимъ... Солдаты они настоящіе!

Отдѣлаетесь какими-нибудь шестью годами каторги.

И тутъ же Бирнбаумъ старается на свой ладъ перевести: «Защитникъ человѣкъ хорошій... надолго, говоритъ, не засудятъ... нѣмецкіе судьи казаковъ любятъ... какіе-нибудь пустяшные три года каторги... и пролетятъ они, какъ сонъ».... И дальше уже отъ себя... «Бѣда съ вами, ваши благородія, — какъ же можно, ни звука по нѣмецки»!...

— А вы, господинъ профессоръ, — обращается озабоченно Еруcланъ Локоть къ Братолюбову, — объясните адвокату, чтобы не очень хлопоталъ за насъ и платы никакой бы не ждалъ, — панталоны да рубаха все добро наше... Такъ и скажите ему, Инокентій Пименовичъ... А маракувать на судѣ что́ — все ясно. Человѣка удавили? Удавили. Значитъ, шо тутъ балакать, — на то законъ!...

«Профессоръ» Братолюбовъ охотно перевелъ бы. Но онъ оріенталистъ, знаетъ даже санскритскій, а въ нѣмецкомъ очень слабъ... Экая досада!... Все это уладитъ «переводчикъ» Бирнбаумъ, а безпокоиться вообще не о чемъ, защитникъ вѣдь «казенный», по назначенію...

Ужъ восьмой мѣсяцъ безпросвѣтнаго сидѣнія на исходѣ, а суда все нѣтъ!... Братолюбову, съ верхней койки, какъ самому легкому, виденъ только закатъ, солнечные трепетные зайчики на ржавомъ отъ плѣсени кирпичномъ полу, а внизу

лежащіе на этихъ «проклятущихъ» прокрустовыхъ нарахъ, все время съ подогнутыми колѣнями, Перебейносъ и Локоть могли наблюдать, скорѣе угадывать, снизу вверхъ, только такъ называемый восходъ, краюшекъ озареннаго неба... Долго-долго тянулись для нихъ въ мрачной безвѣстности тюремные дни... Но солнышко повсюду настигаетъ Божью тварь... Недаромъ полагаютъ, что и покойнику въ могилѣ въ солнечные дни свѣтлѣй бываетъ...

Удавалось проникнуть, прошмыгнуть къ узникамъ, тайно и явно, правда очень рѣдко, одному Бирнбауму. Только въ глинобитныхъ тюрьмахъ еще встрѣчаются жалостливые патріархальные охранители. И отъ добродушно философическихъ бесѣдъ Бирнбаума таялъ ледъ одиночества, и разступались, свѣтлѣли сумерки камеры, и играла улыбка на суровыхъ человѣческихъ лицахъ, что солнечные зайчики на сѣро-кирпичномъ полу.

— Никакого сраму нѣтъ въ наше время сидѣть, ваши благородія. Особливо, если за совѣсть сидѣть. Кто-нибудь да сидѣть долженъ? Другіе, вѣдь, тоже люди. Всѣхъ жалко. Изволили вы заступиться за негра, и негръ человѣкъ. Всѣ рано или поздно отсидѣть должны. Одни за свою идею, другіе — за чужую. Безъ идей никакъ невозможно. Былъ у меня такой знакомый человѣкъ, когда я еще прогимназію кончалъ... имя и отчество забылъ... Гераклитомъ называлъ себя. Чудакъ былъ человѣкъ, большой чудакъ. Такъ

вотъ тотъ все твердилъ, что все живое течетъ и что человѣку иначе никакъ невозможно... Все, говоритъ, течетъ... Alles fließt... А куда течетъ, чтó течетъ, какъ ни пытали его, такъ и не сказалъ, ушелъ, объяснить не успѣлъ. А кто, ваши благородія, померъ, не отсидѣвши, тотъ обязательно на томъ свѣтѣ отсидитъ! Безпремѣнно предъ Богомъ отвѣтъ дастъ, почему не сидѣлъ. Какъ же ты, спросятъ, такой-сякой, изловчился, почему не попался? И на томъ свѣтѣ уже обстоятельно отсидитъ!..

— Да что вы, Давидъ Соломоновичъ, все объ томъ свѣтѣ!... Мы на томъ свѣтѣ отсидѣть тоже бы не прочь... А иные которые пущай на этомъ, — буркнулъ Ерусланъ Локоть съ самой нижней нары и перевернулся на другой бокъ, съ хрустомъ, съ трескомъ, съ музыкой изогнутыхъ, разодранныхъ пружинъ...

— А мы за то, господинъ подполковникъ, — Бирнбаумъ никого не обижалъ, частному лицу отпускалъ онъ «доктора», военному — «обер-тейтенанта», а своего человѣка, земляка, «подполковникомъ» величалъ, — мы, ваше благородіе, чистыми за то предъ Господомъ предстанемъ, потому что мы за все полностью на этомъ свѣтѣ расплатились, — и самоуничиженіемъ, и безпрерывнымъ голодомъ, и преждевременной вынужденной ничтожностью нашей... А впереди еще сколько?!... О, Господи!... Всѣ хорошіе люди страдаютъ. Дрейфусъ сидѣлъ? Си-

дѣлъ. Іосифъ съ братьями у фараоновъ сидѣли? Сидѣли. А о пророкахъ и вождяхъ и говорить нечего, счетъ потерять можно... Взять хоть бы этого... какъ его... да Іова, — весь, понимаете, въ струпьяхъ, въ язвахъ, — шутка ли, страдалъ и не роепталъ!.. Да какъ страдалъ еще!... Мы, какъ никто, и всѣ революціи, и всѣ эволюціи отстрадали... всѣ сидѣли. Одни за вселенную, другіе, какъ вы, ваши благородія, за одну малюсенькую идею... Все течетъ!.. И весь міръ полонъ тайнъ... Стоитъ себѣ человѣкъ, и не налюбуется онъ, скажемъ, на цеппелинъ или на Ллойдъ-Джорджа... Ладно. Стоитъ онъ себѣ, свободный такой и во всѣхъ отношеніяхъ здоровый, и вдругъ карнизъ ему на голову трахъ! А за что? За что, я васъ спрашиваю, господинъ подполковникъ!?... Такъ и тюрьма, ваши благородія: изъ тюрьмы еще выйти можно, а изъподъ карниза никуда... На все Его воля. Все течетъ, правильно сказалъ этотъ самый Гераклитъ...

— А и вправду течетъ?... И то правильно. Моря въ океаны, а Волга въ моря, по глобусу видать... А вы бы, землякъ, познакомили бы съ вашимъ этимъ... Гра... Раклоидомъ...

Бирнбаумъ уважалъ и самый малый чинъ ефрейтора, но такое невѣжество все же коробило Бирнбаума, и обѣими руками, въ ужасѣ, отмахнулся онъ отъ ихъ благородія...

— Ну, какое тамъ ракло... Мудрецъ Герак-

литъ сказалъ эту истину и померъ, объяснить такъ и не успѣлъ. Давно это было... Но всѣ, что мало-мальски съ идеями, тѣ непремѣнно сидятъ. Мужчина безъ идеи, что́ мадамъ безъ дите...

— А вотъ и не всѣ сидятъ, — буркнулъ Перебейносъ тономъ, не допускающимъ возраженія. — Правители, которые народъ за собой ведутъ, развѣ всѣ сидѣли?!

— Значитъ, еще на томъ свѣтѣ отсидятъ. Терпѣнья только. И что такое пять или пятнадцать лѣтъ тюрьмы? У насъ въ святыхъ книгахъ прямо сказано: «и тысяча лѣтъ промчится такъ же быстро, какъ день вчерашній»... А вотъ страшно духъ живой потерять, какъ потухшій самоваръ, сапогомъ прихлопнутый...

Дивился, просто «не постигалъ» Братолюбовъ, откуда у этого долговязаго и тщедушнаго Бирнбаума столько духа. Про такихъ людей принято говоритъ: «ни кожи, ни рожи». Впрочемъ, внѣшность у Бирнбаума была довольно располагающая. Особенно выдѣлялись его упрямая, сухая, свѣтло-желтая шевелюра на красиво посаженной головѣ и его острые, нервные, каріе глаза... Вотъ развѣ плечи, такія высокія и узкія, да впалая грудь, что́ изношенная турбинка, — все это создавало впечатлѣніе замотавшагося, выброшеннаго среди сезона, заболѣвшаго вдругъ актера...

— И откуда у васъ, Давидъ Соломоновичъ,

духа этого столько? Просто дивлюсь я, — раздался съ верхней нары надтреснутый, съ хрипотцой, голосъ Братолюбова, и сверху выставилось лицо его, вѣчно мокрое отъ капель съ проклятаго потолка, сейчасъ освѣщенное слабымъ отблескомъ заката.

— Видите ли, коллега Инокентій Пименовичъ... Простите, что я васъ такъ называю, — вамъ въ профессурѣ отказали, а я неудачно на провизора три раза экзаменовался, но я васъ очень-очень уважаю, ибо чувствуется въ васъ что-то не то отъ Пушкина, не то отъ... Альфреда Мюссе, право!.. Недавно случайно видѣлъ я его фотографію... Вы ужасно на него похожи!... И потомъ вы часто стихи читаете... А я, хоть и чепуха человѣкъ, давно этимъ самымъ также лечусь. Какъ мнѣ обида большая отъ когонибудь или болѣзнь, я сейчасъ за стихи. Читаю, перечитываю, тихо про себя декламирую... Не обижайтесь на Бирнбаума, я вѣдь тоже русскій.. Въ Кіевѣ на Подолѣ родился, и молюсь я только о томъ, чтобы тамъ, въ Кіевѣ, умереть, среди своихъ, съ русскими!... А насчетъ «коллеги» не обижайтесь, слово безобидное... Такъ вотъ доложу я вамъ, Инокентій Пименовичъ, почему и откуда духъ у меня течетъ... Я, напримѣръ, вѣрю и вѣрую. И вѣрую я, придетъ скоро и для насъ всѣхъ Мессія, человѣкъ такой особенный, и протрубитъ онъ въ нашъ древній библейскій громкоговоритель, въ рожокъ такой, самый про-

стой рогъ отъ быка. И всѣ мы, всѣ искалѣченные, полуживые и мертвые, кто подземкой, унтергрундомъ, а кто съ посохомъ или на мотоциклеткахъ, — всѣ мы туда покатимся домой, и арійцы и неарійцы, къ общей матери нашей, къ родинѣ! Ваше частное дѣло не вѣрить, а я тихо вѣрую, и мнѣ легко. А шутки и улыбки надо мной мнѣ, какъ горохъ объ стѣнку. Если бы эти идолы образумились бы тамъ, въ Москвѣ, да позвали бы насъ къ себѣ теперь, — да только по честному, по хорошему, по старо-русскому, — Бирнбаумъ первый съ однимъ носовымъ платочкомъ, какъ Линдбергъ черезъ океанъ, прямо полетѣлъ бы туда на Подолъ, въ Кіевъ! . . Великія, первородныя слова: Кіевъ да Москва! Придетъ еще милость Его! Вѣдь, и лучи солнца тоже преломляются, развѣ нѣтъ?! Огорчаться вообще не надо, — горечь, что́ ржавчина, поѣдаетъ сердце, какъ и самую отличную машину.

Слушалъ, вслушивался Братолюбовъ, глазами впивался онъ въ сердцевину этого чуждаго ему Бирнбаума, и только слово «преломляются» особенно зацѣпило вниманіе его. . Да. . Преломились за этотъ короткій срокъ и люди, ... и міросозерцанія. . . и духовныя цѣнности. . . И ничего удивительнаго нѣтъ въ «преломленіи» Бирнбаума, искренне и безкорыстно тоскующаго по своему Кіеву и вѣрующаго въ Мессію. . . Но Бирнбаумовъ становится все больше, ихъ просто не замѣчаютъ, а которые позначительнѣй, тѣ давно

уже тѣломъ съ ними, хотя бы на рубежѣ, а душой все же тамъ... тамъ...

Давидъ Бирнбаумъ инстинктивно продолжалъ двигаться, слѣдуя «завѣтамъ» Гераклита... На одномъ мѣстѣ долго не задерживался... Двигался, искалъ, переходилъ, перекочевывалъ... «И камень на одномъ мѣстѣ только мохомъ однимъ обрастаетъ».... Бирнбаумы заранѣе предупреждаютъ событія... Заранѣе лѣчатся, и задолго до дождя оказываются подъ зонтикомъ, изрѣдка выставляя раскрытую ладонь. Сами перебиваясь съ хлѣба на квасъ, они сторонятся себѣ подобныхъ, нищихъ, но не ищутъ и богатыхъ... Чутьемъ, обнаженными нервами, чуютъ они заранѣе неудачу, бѣду, и во время уходятъ... Случилось у Давида Бирнбаума, въ его родномъ городкѣ, наводненіе, затопившее все его «имучество», какъ любилъ онъ отзываться о своемъ родовомъ «имэніи». Но Бирнбаумъ и тутъ, быстрѣе Днѣстра, спасся въ Жмеринку, захвативъ съ собой, — Боже, какъ надъ нимъ подшучивали! — всего только Надсона, Фруга и Некрасова... Затѣмъ пришли «ганувымъ» въ Петербургъ (гдѣ только во время войны ни оказывался Бирнбаумъ), а онъ уже, какъ настоящій «украинецъ», оказался, черезъ Бѣлгородъ, въ Харьковѣ, у самого Петлюры!.. Ушелъ Петлюра, ушелъ еще раньше Бирнбаумъ, одновременно съ «воеводой» Балбачаномъ, на буферахъ его же вагона... въ Проскуровъ... въ Одессу. Прямого пути не было, и плу-

тали разбитые паровозы и вагоны съ воеводами и съ Бирнбаумомъ... И раньше всѣхъ оказался Давидъ Бирнбаумъ за границей. Прямо чудомъ, послѣ четырехъ мѣсяцевъ блужданій, не дошелъ уже, а доползъ, съ отмороженными ушами и ногами, до Берлина, гдѣ отлеживался въ разныхъ больницахъ около года! Такъ и спасся нищій, невѣдомый, ненужный Бирнбаумъ. Могъ ли бы остаться *тамъ* Давидъ Бирнбаумъ? Повидимому, нѣтъ!... Всякое твореніе имѣетъ свое назначеніе... Нужны зачѣмъ-то и болотные огни. Они-то въ изгнаніи и въ посланіи... Какъ же было самому Бирнбауму не вѣрить, когда безъ единаго гроша, на спинѣ, можно сказать, воеводъ и гетмановъ, пробирался и онъ въ Европу? И вотъ уже столько лѣтъ прошло, а Бирнбаумъ съ голоду еще не умеръ и даже ни единой маркой благотворительной не воспользовался, ибо «другимъ куда хуже»... И живетъ онъ «милостью Божьей», среди чудесъ,—кажется, вотъ-вотъ завтра обязательно ужъ онъ «духъ испуститъ». Вдругъ, точно чудо, идетъ на него, на Бирнбаума, живой пріѣзжій американецъ, и Бирнбаумъ показываетъ ему не только «Гамбургъ ночью», но и всѣ мѣста, «гдѣ раки въ Гамбургѣ зимуютъ»...

— Товары, сами понимаете, — не дѣло. Гдѣ товары, тамъ и капиталы. А въ Гамбургѣ портъ и иностранцы... И выходилъ я, ваши благородія, на дорогу только въ сумерки. Была у меня уже своя кліентура, одинъ другому рекомендовалъ

меня... Многаго я не требовалъ, а за одинъ долларъ можно было тогда четверть года кормиться... Меня съ моими иностранцами охотно по ночамъ всюду пускали... Знали, что я жуликовъ или полицейскихъ съ собой не приведу. Ну, какая тамъ бѣда?... Выпьетъ американецъ бутылку одну-другую «махмадеру», или квасу-шампанскаго, да такого крѣпкаго, что пробка прямо потолокъ буравитъ, — кому отъ того убытокъ?!... Конечно, и дѣвицы... И ихъ жалко!.. А посидитъ она въ однѣхъ штанишкахъ, и сразу пять долларовъ! Дѣвушкѣ и радостно... Войну проиграли... отощали... Чулки на ней шерстяные... Жить надо... Вотъ американецъ за все и расплачивайся... Нѣсколько лѣтъ такъ я кормился. Срамомъ и раками кормился... Какъ сойдетъ съ корабля американецъ, а у него въ рукахъ уже адресъ мой и я къ нему прямо съ мѣста въ карьеръ на чистѣйшемъ нѣмецкомъ и англійскомъ языкѣ... И сразу уславливаемся, что Excelenz сегодня же вечеромъ познакомится со всѣми мѣстами, гдѣ раки зимуютъ... Вотъ такъ и жили... А когда полоса безработицы пошла, я въ судахъ разныхъ въ свидѣтели попадалъ... Тоже кусокъ хлѣба... Ходишь это въ порту, по базарамъ, по ярмаркамъ... Ну, сами знаете, скандалы, крики, мордобитіе, а я — въ свидѣтели. Самый аккуратный плательщикъ теперь судъ, судебная касса... И такъ за мѣсяцъ приходилось мнѣ не меньше десяти разъ свидѣтелемъ выступать... Судьи уже

смѣются и даже фамиліи не спрашиваютъ. . . А много ли человѣку надо? . . . И все же, дорогіе земляки, самъ чуть въ тюрьму не попалъ! . . . Черезъ прокурора непремѣнно попалъ бы! . . . Да, былъ случай такой! . . . Очень печальный случай! . . . Пожалѣла меня, понимаете, дама одна, нѣмка, изъ бывшихъ знатныхъ артистокъ, въ отставкѣ она давно, значитъ, и лѣтъ ей такъ около 60. . . Еще молодой сама два раза въ Москвѣ побывала и крѣпко запомнила Московскій Художественный театръ. Ладно. Фигурка у меня, какъ видите, ничего себѣ, немножко даже театральная. . . Это она находила, а провѣрить я не могу. На Качалова, говоритъ, похожъ я, — кто его знаетъ, самъ-то не видалъ. Ладно! . . . И не отстаетъ, проситъ меня читать ей по Качалову, по Станиславскому, по Москвину. . . Почему не читать? Читалъ я, декламировалъ, и даже съ большой глубиной и со слезой, — жилось мнѣ въ ту пору отвратительно и голодно. Барыня она была очень замѣчательная, сама нерѣдко чувствительно плакала послѣ моей декламаціи и на кофе и на обѣдъ часто оставляла. . . Дай Богъ ей здоровья, такъ я мѣсяцевъ семь благополучно обѣдалъ. Не могу я людей обижать. . . А она вдругъ, — ужасъ-то какой! — за настоящаго артиста меня принимать стала! . . . Я — назадъ! Какъ можно?! . . . Да какой же я артистъ? Вы, говоритъ, меня мистифицируете. . . вы, говоритъ, быть можетъ, сами бѣжавшій оттуда Качаловъ?! . . . А продолжаете

играть роль нищаго и бродяги?! . . . Не скрывайтесь, говоритъ! . . Слыхали?! . . . Недурно? . . . Обѣды даровые вамъ, кричитъ, видно, понравились? . . . Извольте же теперь открыться! . . . Маску долой! . . . А то у насъ за мистификацію знаете что?! . . . За «Vorspielung falscher Tatsachen» — у насъ тюрьма! . . . Я — удирать, а она: «Ich werde Sie dem Staatsanwalt anzeigen!» . . . Прокурору заявитъ на меня за мистификацію! . . . Ей любой прокуроръ повѣритъ, а я что?! . . . Кто такой Давидъ Бирнбаумъ, я васъ спрашиваю? . . . Что же оставалось мнѣ дѣлать? . . . Сбѣжалъ. Ночью сбѣжалъ. . . Всегда я все предвидѣлъ, но такого сумасшедшаго случая — никогда! . . . Главное, сбила меня баба самого съ толку. . . А вдругъ и я въ самомъ дѣлѣ Качаловъ?! . . . Шутка-ли?! . . .

Суровыя, давно небритыя лица подсудимыхъ сочувственно смѣялись. Они головами покачивали и немало дивились этому счастливцу. . .

— Нашла сходство! . . . Я и Качаловъ?! . . . Похожъ, какъ топоръ на фаршированную щуку. . . Сбѣжалъ! . . Сбѣжалъ, еле ноги унесъ. . . Иди, доказывай прокурору, что я просто Бирнбаумъ изъ Могилева на Днѣстрѣ, а не самъ знаменитый В. И. Качаловъ. . .

— Чѣмъ же теперь вы живете, Давидъ Соломоновичъ? — любопытствовали подсудимые.

— «Живете?. . Не живу, а мучаюсь. . . Тоже — жизнь. Я теперь въ городѣ Букстеудѣ преподаю

//// въ тылу... во время великой...

шведскую гимнастику... Удивляетесь?... Это ничего... Я былъ какъ-то ~~въ эмиграціи~~, въ Стокгольмѣ... Кого только тамъ не было?!... Но до шведской гимнастики въ эмиграціи никто еще не додумался... И шведская гимнастика тоже пока кормитъ... Много ли нужно человѣку?...

Если бы не густыя сумерки, можно бы легко прочитать на лицахъ подсудимыхъ и удивленіе, и сомнѣніе, и вновь сочувственныя, добродушныя улыбки...

— А какъ же, Давидъ Соломоновичъ, семья ваша?

— Я вѣдь одинъ... одинъ я... совсѣмъ одинъ, и потребность моя малая... Совсѣмъ одинокій, — тутъ Бирнбаума едва слышно было... Какъ-то притихъ... умолкъ... Голова поникла, какъ увядшій плодъ на изсохшей вѣткѣ...

— Семьи значитъ никакой?... Жена, дѣтки?..

Послѣ долгой паузы Бирнбаумъ продолжалъ:

— Вотъ этого счастья и не случилось, уважаемые подсудимые... Господь ужъ тутъ самъ, видимо, вмѣшался... все предвидѣлъ... И не допустилъ... Даже въ солдаты меня не взяли!... Самъ, понимаете, ваши благородія, ушами слышалъ я во время рекрутскаго набора... Стою это я голый, а старшій врачъ сосѣду своему, тоже доктору или воинскому начальнику, такъ прямо и говоритъ: «ну и плюгавый же какой!»... Смѣются. Забраковали. Да и дѣвушки въ моемъ го-

родѣ точно сговорились, не выходили за меня... А честный былъ я, и съ почти полной прогимназіей, и даже съ очень сильными наклонностями къ семейной жизни!... Но въ рѣшительную минуту, когда приходилъ я къ избранницѣ моей за рѣшительнымъ отвѣтомъ, ко мнѣ вдругъ выходила уже мамаша, будущая теща, и объясняла: «Розочка уѣхала совсѣмъ въ Одессу!... А вы, господинъ Бирнбаумъ, не такой человѣкъ, чтобы я позволила моей Розочкѣ за васъ замужъ выходить... Да и сама Розочка говоритъ: скажи ему, мама, что не хочу я выйти за лирическаго человѣка!»... Лирическій человѣкъ?!... Ничего не понимаю! Такъ отказали мнѣ четыре дѣвушки въ нашемъ городѣ, и всѣ стали называть меня тамъ «лирическимъ человѣкомъ»... Только ужъ позднѣе понялъ я все. Понимаете?!... Я тогда, молодымъ, глубоко чувствовалъ, сильно любилъ. А когда крѣпко любишь, нельзя о любви своей говорить простыми словами... Надо сказать красиво, потому что сама любовь — чувство красивое... Своихъ же собственныхъ красивыхъ словъ я тогда не имѣлъ, и я каждой моей возлюбленной декламировалъ изъ Надсона, изъ Фруга, и плакали мы оба надъ «Бѣлымъ покрываломъ»... Стихи дѣвушки слушали, слушали, и нравилось имъ, а какъ заговорю о любви моей, о семьѣ, о дѣтяхъ, пугаться начинали... Кто въ Одессу, а кто въ Проскуровъ... И придумали же, злючки, «лирическимъ» прозвали. Такъ и остался я...

одинокій... пустой... какъ косточка безъ финика..

Сумерки въ камерѣ сгустились, и гдѣ-то въ углу заунывно зудила, звенѣла осенняя муха.

— А вы, ваши благородія, не падайте духомъ... Побачете!.. Есть еще судьи въ Букстеудѣ. И, подходя къ крѣпкимъ запорамъ камеры и приложивъ палецъ къ губамъ, шепотомъ продолжалъ: —Хоть и великаны вы, ваши благородія, а людей давить не слѣдовало бы!... Позвоночныхъ столбовъ, да еще въ чужой странѣ, ломать нельзя!... Никакого вѣдь удовольствія и отъ краткосрочной каторги!... Но не забудьте, ваши благородія, Давидъ Бирнбаумъ и тутъ въ свидѣтели попадетъ!.. Безпремѣнно попадетъ!.. Ладно!..

— Это вы, Давидъ Соломоновичъ, зря балакаете, — протянулъ басомъ Ерусланъ Локоть, — убійства-то вы не видали, и до суда еще далеко, а за мою «негритянскую морду» я во какъ постою!...

«Была, жила Россія,
Великая держава!»...

— Ой, чтобы вы мнѣ всѣ трое еще долго, долго жили!...

... Совершенно безучастно къ своей «вполнѣ опредѣлившейся» судьбѣ относился третій подсудимый, Братолюбовъ, Инокентій Пименовичъ. Не за себя, за свою труппу мучился онъ. Угораздило же его послушаться какого-то Бирнбаума. И зачѣмъ уговорилъ онъ этихъ взрослыхъ дѣтей стать

самостоятельными артистами, свободными художниками?... Жили бы они еще долго-долго, правда безпросвѣтно, но зато сытно и вольно, Микула Перебейносъ и Еруслань Локоть, въ смрадныхъ и мрачныхъ стойлахъ звѣринаго бродячаго цирка Труцци. Зачѣмъ понадобилось ему, Братолюбову, уговаривать эту «сохранившуюся еще русскую цѣлину» бѣжать отъ этого циркового ига, отъ «возмутительной эксплуатаціи» и самимъ публично выступать, самимъ демонстрировать единоборство?!... Все онъ, онъ, этотъ фантазеръ Бирнбаумъ, этотъ откуда-то выискавшійся «лирическій человѣкъ»...

— Да вѣдь такіе спортивные города, какъ Букстеудъ, Кравинкель, Фрайвальде, съ населеніемъ не меньше 2700 жителей, а можетъ и всѣ 3000, — да вѣдь эти города валомъ повалятъ на борьбу настоящихъ русскихъ великановъ! Подумайте только, коллега Инокентій Пименовичъ, какой эффектъ получится, когда я на афишахъ пропишу — «Живые казацкіе генералы-великаны»??...

— Пожалуйста, только не трогайте генераловъ!..

— Ладно, Инокентій Пименовичъ! На афишахъ будетъ значиться чернымъ по желтому: «Живые Голіафы, легендарные казаки послѣдней войны, предлагаютъ каждому поединокъ, кто — кого!!!». Три восклицательныхъ знака, чувствуете?!... «Бирнбаумъ платитъ каждому 20 марокъ, если нашихъ казаковъ положатъ на лопатки, а по

2 марки съ человѣка всего, если наоборотъ»... Пять красныхъ восклицательныхъ знаковъ... И никакой входной платы!. Поняли?!.. На вольномъ воздухѣ! Два раза въ недѣлю, въ воскресные и ярмарочные дни. А съ шапкой честную публику Бирнбаумъ самъ обходить будетъ — это уже будетъ отъ Бога! ... И никакихъ зайцевъ... Вы же, Инокентій Пименовичъ, — лицо у васъ очень ужъ благородное, — вы будете арбитромъ, конферансье и за кассой, а Бирнбаумъ — по хозяйству. И будемъ всѣ мы обуты, сыты, вольными людьми и свободными художниками! ... А что, по вашему, ваши благородія, въ стойлахъ, при носорогахъ, слонахъ и орангутангахъ, лучше? ... Побольше иниціативы, движенія мысли! ... Все течетъ! ... Все движется! ... И какъ вы только выжили: Галлиполи, Лемносъ, Сахара! ...

Чисто звѣриная выносливость и нечеловѣческое терпѣніе отличали Перебейноса и Локтя весь рядъ лѣтъ, послѣ отсидки въ Галлиполи и на Лемносѣ, и въ иностранномъ легіонѣ, и въ африканской «пустынѣ жажды» Фанезруфу... Служба, какъ всякая военная служба, но особенная она была въ иностранномъ легіонѣ: — постоянно воевать съ невидимымъ, но коварнымъ, отовсюду подстерегающимъ врагомъ... Перебейносъ и Локоть являли и тамъ особый примѣръ усердія, какъ и всѣ, впрочемъ, дореволюціонные солдаты. О вольной жизни и не думали. Куда же имъ самимъ подаваться? Было тяжко. Но было сытно

и вольготно. И долго еще служили бы они среди песковъ и лѣсовъ первобытныхъ. Да случаю угодно было устроить ихъ жизнь по иному. Случай играетъ человѣкомъ. Одни, напримѣръ, благодаря случайному ушибу головы, особенно въ дѣтскiе годы, начинаютъ, въ самомъ дѣлѣ, проповѣдывать генiальныя вещи вродѣ: «чтобы подняться, надо качнуться и упасть». И падали «народы, царства и цари»... Насчетъ только «подняться» давно что-то не слышно. Иное дѣло люди одинокiе; треплетъ ихъ случай во всѣ стороны, и рѣдко о нихъ въ лѣтописяхъ найдете...

Однажды въ погонѣ за носорогами, за рѣдкими экземплярами слоновъ, львовъ и леопардовъ, группа европейскихъ охотниковъ, предводимая извѣстнымъ звѣроловомъ и цирковладѣльцемъ Труцци, повстрѣчалась въ дебряхъ Африки съ казачьимъ разъѣздомъ изъ иностраннаго легiона... Какъ вкопанные, оцѣпенѣвъ отъ удивленiя, пораженные невиданнымъ зрѣлищемъ, застыли они всѣ на мѣстѣ, зачарованные «человѣческой сенсацiей».... Немало встрѣчали они «людей» въ разныхъ паноптикумахъ Европы, и среди чемпiоновъ борьбы и бокса, и среди чернокожихъ тавойскъ, но такихъ экземпляровъ не видали, такихъ молодцовъ, Голiафовъ на яву, какъ два эти колосса, ростомъ метра два съ половиной, до пояса голые, солнцемъ обугленные, темнобронзовые, съ плечами широченными и покатыми, короткошейные, сидѣвшiе, какъ изваянiя, на низ-

кихъ черныхъ коняхъ. Не люди, а сенсація... Опытный глазъ цирковладѣльца сразу оцѣнилъ величіе и мощь этихъ богатырей, заброшенныхъ въ пустыню, и путемъ замысловатой комбинаціи, путемъ обмѣна на дорогіе экземпляры леопардовъ, добился Труцци освобожденія этихъ двухъ русскихъ великановъ, доставилъ ихъ въ Гамбургъ и приписалъ ихъ къ своимъ бродячимъ циркамъ... Таковъ ужъ статутъ всякаго цирка: — кто не значится номеромъ арены, тѣ должны походить или на карликовъ, или на сіамскихъ близнецовъ, или на великановъ. Такъ, послѣ Галлиполи, Лемноса и африканской «пустыни жажды», попали въ Европу вахмистръ Микула Перебейносъ и хорунжій Локоть. И состояли при живомъ инвентарѣ Перебейносъ и Локоть долгіе безпросвѣтные годы, въ мрачныхъ и смрадныхъ стойлахъ. Давно позабыли они про волю и про человѣческую рѣчь, — свѣтъ дневной не часто видали... А прѣлый, прогнившій воздухъ и безсловесное общество чернокожихъ слугъ, не говоръ ихъ, а гульканіе, наложили на нѣкогда вольныхъ сыновъ степей звѣриное клеймо... Только и слышны были изъ-за стойлъ животное сопѣніе, тупое скотье переминаніе, жратва и шевеленіе мясистыхъ мордъ, да булька765ніе, точно изъ чрева. И давно не раздавалось вокругъ нихъ ни человѣческаго голоса, ни пѣсни, ни жалобы...

Лично Братолюбову давно ничего не надо... «Тяжко бываетъ только человѣку съ широкими

костями и обильной плотью, — спокойно и равнодушно объяснялъ Братолюбовъ Бирнбауму. — А мнѣ все едино, гдѣ и на чемъ лежать. . . Духу опора не надобна. . . Духъ и словъ суетныхъ не любитъ. . .» У Братолюбова давно уже нѣтъ «тѣла», и весь онъ зеленобутылочнаго цвѣта, и хрупкая, мелкая кость его, — нѣтъ, лучше его не трогать, разсыплется. . . Весь онъ жердь въ два метра. Глаза его съ влажнымъ блескомъ, изсиня-черные, запавшіе, вопрошающіе. Весь его остовъ такой худой, тонкій, съ упрямо скользящимъ пояскомъ у непослушныхъ панталонъ. Братолюбовъ точно пергаментной кожей обтянутъ. Особенно выдѣляли его длинные, назадъ рукой чесаные волосы, такъ кругло закрывающіе уши и открывающіе высокій блѣдный лобъ на смугломъ лицѣ, обрамленномъ съ обѣихъ сторонъ, прямо отъ висковъ, точно приклеенными, тонкими, черными бакенами и заканчивающемся закругленной черной бородкой. Какой-то добродушный пріятель однажды прозвалъ его Альфредомъ Мюссе. Долго еще величали такъ Братолюбова его знакомые. Братолюбовъ дѣлился иногда, очень рѣдко, съ людьми своими переживаніями и наблюденіями.

— Всѣ мы становимся все мельче и мельче. . . Приходятъ, уходятъ, точно исчезаютъ вдругъ «духовныя личности», тянетъ отовсюду «духовной дряхлостью» . . . И всѣ мы теперь не внутри больше, а около. . . Исчезаетъ во вселенной духовная личность. . . И всѣ гонятся. . . торопятся. . .

Часто ночью слышу я гдѣ-то, будто совсѣмъ близко, придушенное рыданіе.. . И все кругомъ такъ жалобно воетъ, — торопятся, носятся всѣ растерянно. . . А вы иногда присмотритесь. . . Смѣются какъ будто. . . а мнѣ чудятся плачъ, безотвѣтные вопросы, душевное смятеніе. . . Такъ и вспоминается по **ночамъ. . .**

. . . «Куда ихъ гонятъ?. . .
Что такъ жалобно поютъ? . . .
Домового ли хоронятъ? . . .
Вѣдьму-ль замужъ выдаютъ?» . . .

Часто такъ декламировалъ Братолюбовъ, вскидывая на случайнаго слушателя свои дѣтскіе до святости глаза, и оба тогда, почти чуждые другъ другу, на улицѣ европейской пустыни, продолжали они шепотомъ, въ тактъ, уже вмѣстѣ, читать и вспоминать, восхищаясь прелестью стиха и звономъ, «вѣщимъ провидѣньемъ». И вновь, послѣ душевной передышки, воскресали у этихъ одинокихъ не совсѣмъ еще умершія думы и призрачныя надежды. И тогда, расходясь, чтобы больше не встрѣчаться, Альфреду Мюссе крѣпко пожимали за прочитанные стихи руку.

Братолюбову самому «до слезъ потѣшно», какъ это онъ, — ну, кто бы могъ подумать, съ нимъ то же случилось, что и съ Бирнбаумомъ! —второпяхъ успѣлъ захватить только парусиновый зонтикъ и нѣсколько томиковъ любимыхъ классиковъ. Да было еще одно, что его, Братолюбова, совсѣмъ по-

разило: — по дорогѣ изъ Вильно въ Ковно нашелъ онъ въ одномъ томикѣ приклеенное къ внутренней обложкѣ, тщательно сложенное «Выборгское воззваніе»!? .. Ученая карьера «профессора» Братолюбова, тогда еще приватъ-доцента, оборвалась какъ разъ во время манифестаціи у Казанскаго Собора... Съ тѣхъ поръ онъ продолжалъ какую-то «холостую» работу, какъ ремень у выключенной машины... Скитался, писалъ въ разныхъ провинціяхъ передовицы, исполнялъ обязанности секретаря при любимыхъ вождяхъ... Въ общественномъ и «освободительномъ» движеніи не находился въ заднихъ рядахъ, а съ переходомъ черезъ рубежъ «плохо что-то сталъ разбираться въ окружающемъ»... Однако, твердо разъ навсегда увѣровалъ, что и «дальнѣйшія судьбы страны находятся въ надежныхъ рукахъ» тѣхъ же любимыхъ вождей, но уже во Франціи. Если же онъ самъ «пока ни къ чему», то и не надо, — нельзя же всѣмъ возстанавливать, вожди сами найдутъ «пути», и не надо имъ мѣшать. Кто знаетъ, еще понадобится и приватъ-доцентъ Инокентій Пименовичъ Братолюбовъ!... Когда окончится «новое татарское иго», то зарубежные вожди обязательно вспомнятъ и призовутъ и привватъ-доцента Братолюбова, и провизора Бирнбаума... Всѣ понадобятся, всѣ «по кирпичику» туда понесутъ... И тутъ же добрая старая память Инокентія Пименовича привычно вызывала нѣсколько близкихъ его сердцу стиховъ...

«... въ искушеньяхъ долгой кары
и претерпѣвъ судебъ удары,
окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
дробя стекло, куетъ булатъ»...

— Все это очень хорошо, Инокентій Пименовичъ, но мечтать у раскрытой форточки, да еще приватъ-доценту, никакъ не полагается, и неугодно ли сейчасъ же закрыть форточку, — иначе куда вы съ гриппомъ дѣнетесь?!.. Кому вы тогда вообще нужны?.. И Братолюбовъ покорно выслушивалъ, извнутри, упреки и захлопывалъ форточку.

Таяли на глазахъ Братолюбова люди, разсасывались, исчезали... Приходили какіе-то новые, странные, «преломленные»... Имъ бы хотѣлось и тутъ, и тамъ... Или тамъ, а иногда и тутъ... Таяло тѣло у Братолюбова, росла нужда безмѣрная, угрожать сталъ голодъ... Братолюбовъ однажды домашними средствами открылъ и установилъ, что сахаръ растворяется быстрѣе соли, и если ничего не прирабатывать на протяженіи годовъ, то и гроши, послѣднія сто семьдесятъ марокъ, растаютъ быстрѣе сахара, — его единственнаго питанія послѣднихъ четырехъ мѣсяцевъ... Хлѣбъ, чай, сахаръ... Чай, хлѣбъ, сахаръ... Хлѣбъ и чай... Вообще можно незамѣтно, такъ тихо, умереть, что «еще воздухъ въ чужой комнатѣ испортишь»... И Братолюбовъ, вмѣстѣ съ тысячами другихъ, постепенно выходилъ изъ оборо-

та, изъ круга, соскальзывалъ, точно по касательной, въ неизвѣстность, въ небытіе. . . Стало такъ, что ужъ рѣдко промелькнетъ силуэтъ Братолюдова въ боковыхъ улицахъ или за оградой парка, или въ уединенной аллеѣ. Изрѣдка сидѣлъ онъ у песочной горки, безмѣрно одинокій, въ кругу нянекъ, дѣтей и окружныхъ цвѣтеній. . . Разъ видѣли его въ городскомъ паркѣ, въ одной боковой аллеѣ. На опущенной рукѣ висѣлъ набухшій, потрепанный, коричневый зонтъ, другая рука держала передъ блуждающимъ взоромъ лоскутки исписанной бумаги. . . Въ безкровныхъ губахъ давно потухшая, съ отвердѣвшимъ пепломъ, папироса. Черная, на затылокъ сдвинутая, фетровая, съ помятыми полями шляпа открывала блѣдный горячечный лобъ и разсѣянную улыбку на пергаментномъ лицѣ. . . Стихи ли были на этихъ листкахъ, впрокъ ли заготовленныя передовицы для несуществующихъ газетъ, или, быть можетъ, провѣрка «теоріи относительности», — кому охота безпокоить занятого, сосредоточеннаго человѣка! . . .

Такъ было съ Братолюбовымъ. Такъ было со многими. Люди точно замедляли ходъ, ихъ прежнее сознательное устремленіе превращалось въ безцѣльное блужданіе по боковымъ уличкамъ, съ частой и ненужной провѣркой часовъ. . . Такъ сокращаются тѣни, пока къ ночи не исчезнутъ вовсе.

Братолюбовъ, подобно тысячамъ другихъ, ис-

чезъ вдругъ съ обычныхъ тротуаровъ. Обойдется все тутъ и безъ него... Жалко только разставаться тутъ съ нѣсколькими считанными «духовными личностями». Надо торопиться уходить, иначе помретъ и Братолюбовъ не сегодня-завтра вѣрной голодной смертью, если не станетъ добывать хлѣбъ свой «трудами рукъ своихъ».

Славный городокъ Букстеуде подъ Гамбургомъ!.. Два раза въ недѣлю, въ ярмарочные дни, съ 4-хъ утра, помогаетъ Братолюбовъ, непрошеный, разгружать возы и грузовики, а послѣ базара — убирать вмѣстѣ съ другими, тоже непрошеными и бездомными, соскабливать скребками и метлами и пометъ, и навозъ, и птичьи кровяныя горла, и рыбьи остатки... И продавцы охотно снабжали «diesen armen, netten Russen» провизіей и мелочью... Бездомнымъ быть бѣда не велика. И птица бездомна, а духу и простора и въ душѣ Братолюбова припасено у Бога не мало!... И сытъ онъ, и независимъ, и, никѣмъ незнаемый, Братолюбовъ возвращался сумерками въ свой уголъ, примиренный, нашептывая:

«Прямая дорога... Большая дорога,
Простору не мало взяла ты у Бога»...

Былъ Братолюбовъ сытъ, а по воскреснымъ днямъ, въ свѣжей сорочкѣ, отправлялся на чудное зрѣлище — единоборство сельчанъ... Спортъ великое дѣло, и если безъ уставовъ, а только «по честному», то и совсѣмъ забавнымъ становится

этотъ спортъ. Рядъ городковъ съ населеніемъ не меньше 2—3000 жителей предпочитаетъ «голое поле», на рогожахъ или брезентахъ. Народъ тутъ сплошь изъ страстныхъ спортсменовъ, — ничего, что безъ подготовки. Здѣсь ставка на метровыя плечи и кулаки съ арбузъ... Мясники, молотобойцы, грузчики, кузнецы, всѣ съ семьями, въ воскресные и ярмарочные дни отправляются на общественный лугъ, на бой, на поединокъ, кто кого, головой и лопатками объ землю, а не то что, какъ въ столицахъ, когда обреченные могутъ шепотомъ у болѣе сильнаго противника отпроситься... Нѣтъ, въ Бирнвальдѣ, въ Букстеудѣ, все по честному. Тутъ не просто на лопатки кладутъ, нѣтъ, тутъ публика своя, она въ правѣ за свои деньги и прощупать борющихся, — а вдругъ еще воздухъ между лопатками и рогожей... Публику этихъ городковъ не провести... Если ужъ кто на лопатки легъ, не скоро самъ поднимется!... Мѣстные чемпіоны изобрѣли свой особый, спортивными клубами хоть и не признанный, но тутъ давно ужъ практикуемый способъ: — сразу и плотно противника лопатками пригвоздить — zur Strecke bringen. И Шмеллингъ противъ такого способа спасовалъ бы... Болѣе ловкій чемпіонъ хватаетъ своего противника за ноги и начинаетъ вертѣть имъ до умопомраченія, а затѣмъ уже плюхаетъ всей тяжестью тѣло на землю. И тѣло тогда, безъ всякаго нажима, всѣми лопатками ложится недвижно и надолго. Конечно, и на

этихъ импровизированныхъ спортивныхъ состязаніяхъ припасены, на случай глубокихъ обмороковъ, аптечки и брандсбойты, и побѣжденные, окаченные, какъ тлѣющія головешки, сильной струей, быстро тогда приходятъ въ себя... Бываютъ однако случаи и болѣе серьезные, вродѣ сотрясенія мозга. Только рѣдко. Населеніе этихъ городковъ издавна славится крѣпкой черепной костью, и особыхъ несчастій не наблюдалось. Зато послѣ такихъ побѣдъ и пораженій вся публика, мужья съ женами и съ дѣтьми, женихи съ невѣстами, уничтожаетъ на радостяхъ тутъ же, изъ котла, нѣсколько тысячъ дымящихся, душистыхъ, сочныхъ сосисокъ и выпиваетъ не одинъ боченокъ «Паценхофера».

Жилъ, поправлялся Братолюбовъ, Альфредъ Мюссе изъ Саратова, незначительнымъ человѣкомъ, среди такихъ же незначительныхъ и добрыхъ ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ, пока однажды, — тоже случай, — пока однажды не увидѣлъ (и, увидѣвъ, глазамъ не повѣрилъ), огромной афиши, возвѣщавшей всему населенію Бирнвальде небывалое еще зрѣлище: «Всемірно извѣстный циркъ-звѣринецъ Труцци продемонстрируетъ двухъ казацкихъ голіафовъ изъ оставшихся еще въ живыхъ генераловъ великой войны, и каждый изъ этихъ голіафовъ подыметъ по столѣтнему слону»... Achtung!.. Achtung!.. Achtung!..

Вотъ что прочиталъ Братолюбовъ. Прогло-

тилъ бы онъ сразу эту метровую афишу, да роговыя очки не держатся на тонкомъ заострившемся носу...

«Russische Riesen»!.. «Lebendige Kosaken»!.. «Goliaphen»!.. — кричала афиша, и во всю ея длину нарисована была залихватская фигура казака, одной рукой держащаго «столѣтняго слона», а другой обычную казацкую нагайку... Бѣдному же слону, на афишѣ, повидимому неудобно все время въ воздухѣ висѣть, да и страшно этому слону отъ ярости, отъ обнаженныхъ зубовъ и отъ лютыхъ, на выкатѣ, казацкихъ глазъ.

Долго перечитывалъ и недоумѣвалъ Братолюбовъ, протирая круглыя стекла въ роговыхъ орбитахъ.

... «Русскіе великаны», — пожималъ Братолюбовъ узкими, юношескими плечами, — «откуда?!... И выдумаетъ же этотъ цирковладѣлецъ!... Въ эмиграціи — великаны?!.. Ихъ положительно нѣтъ.» Братолюбовъ среди земляковъ великановъ не встрѣчалъ. Правда, лѣтъ пятнадцать назадъ, на первыхъ бѣженскихъ этапахъ, еще отъ старыхъ царскихъ хлѣбовъ, попадались откормленные люди, да и костюмы на нихъ были еще изъ добротныхъ русскихъ матерій. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло, — кто обрюзгъ, кто отъ недоѣданія облысѣлъ, а если еще сохранился у кого румянецъ нервный, такъ только у дисконтеровъ совѣтскихъ векселей.. Нѣтъ, Братолюбовъ положительно не встрѣчалъ велика-

новъ, а цирковая афиша была явно «швиндель». Были, правда, другіе великаны, Братолюбовъ высоко цѣнилъ «великановъ политической мысли»! .. Онъ почитаетъ это своей «святой обязанностью», онъ вѣруетъ еще, что, прежде чѣмъ его «глаза сомкнутся», онъ сподобится еще встрѣтиться съ этими, еще, слава Богу, живыми «титанами мысли». Но причемъ тутъ слоны? . . . Готовъ Братолюбовъ простить цирковому предпринимателю вольность въ рекламѣ, но зачѣмъ сочинять, что казацкіе генералы подымутъ по слону?! .. Боже мой, до чего только докатились наши богатыри, вожди былой славной «волчьей сотни»! Иначе какъ могъ бы этотъ каналья спокойно выпустить «генераловъ»? И все же Инокентій Пименовичъ при взглядѣ на нелѣпую афишу испытывалъ какое-то теплое чувство, черезъ стыдъ шевелилось на днѣ его души какое-то странное чувство гордости. Только воображенію этого саратовскаго Альфреда Мюссе, — человѣка, еще цѣпляющагося за все былое, русское, «титаническое», могла вдругъ показаться на мигъ убѣдительной причудливая связь между этими казаками-великанами, «Перебейносомъ и Локтемъ», и ихъ предками-богатырями, Микулой Селяниновичемъ и Еруслано мъ Лазаревичемъ! .. На афишѣ прямо сказано: «Живые голіафы-генералы Микула Селяниновичъ и Ерусланъ Лазаревичъ!» . . . Гдѣ же еще, въ какой еще странѣ найти теперь великановъ, подымающихъ по сто-

лѣтнему слону?!.. Не слоненка какого-нибудь или обрюзгшую слониху, — прямо напечатано: слона!...

Тутъ же Братолюбовъ купилъ себѣ билетъ на такое знаменательное представленіе. Въ послѣдній разъ взглянулъ онъ, отходя, на афишу со слипавшимися строками и съ «легендарными богатырями»...

— Господи, въ какихъ только роляхъ не побывали мы?... До чего докатились!... Съ пылью мостовой смѣшались мы!... — Онъ провелъ рукой по дрогнувшимъ рѣсницамъ... — «Хлѣбъ изгнанія»... «Дрожи за каждый день».... Къ горлу подкатывался комокъ жалости...

Въ тотъ день и Давидъ Бирнбаумъ твердо порѣшилъ оставить міровой портовой городъ Гамбургъ и предоставить его собственной судьбѣ... Гамбургъ, который столько лѣтъ кормилъ его!.. Ну, что значитъ какой-нибудь Бирнбаумъ?.... Кому онъ, собственно, мѣшалъ?... Во первыхъ Бирнбаумъ скопилъ уже нѣсколько сотъ марокъ и въ «голодранцахъ» больше не числится, во вторыхъ и въ третьихъ онъ не столько въ Гамбургѣ, какъ — около. Онъ въ порту, и около, и подъ эстокадами, и ни за какія деньги ни одинъ шуцманъ не «открывалъ» еще тамъ Бирнбаума!... Жилъ Бирнбаумъ со всѣми въ мирѣ и рукой по военному, нужно-ненужно, козырялъ онъ порто-

вому начальству. И все таки онъ увидѣлъ себя наконецъ вынужденнымъ уйти, оставить такъ полюбившуюся ему Эльбу, и гулкую суету въ порту, и поблескивавшій водными зеркалами, панорамный, чудесный портовый городъ... Не любитъ Бирнбаумъ печальныхъ людей, подозрительно и испытующе оглядывающихъ другъ друга. Куда вдругъ дѣвались добродушіе, обычный юморъ, шутка, миролюбіе?... Распростится онъ съ милымъ Гамбургомъ, какъ лѣтъ пятнадцать назадъ распростился онъ съ кіевскимъ Подоломъ.

Прощайте, частыя свидѣтельскія показанія, и зимующіе раки, и вообще послѣдній кусокъ комиссіонерскаго хлѣба...

Тихо, въ сумерки, незамѣтно, будто гулять пошелъ, вышелъ Бирнбаумъ, съ зонтикомъ и съ мѣшкомъ подъ мышкой, за заставу и придорожными лѣсными кривизнами направился къ ближайшему городку съ населеніемъ все же не меньше 2700 жителей... Въ Букстеудѣ смѣшается онъ съ другими, тоже никому ненужными, и не будетъ никому дѣла до предковъ Бирнбаума... Бирнбаумъ и раньше, еще т а м ъ, во время уходилъ отъ расовыхъ недоразумѣній... Но чѣмъ виноватъ онъ, что въ жилахъ его не течетъ чистая стопроцентная норма?... Зарывшись, къ ночи, съ мѣшкомъ, въ полѣ, между ржаными снопами, Бирнбаумъ, можно сказать, въ эту ночь даже кощунствовалъ во снѣ. «Не можетъ того

быть, чтобы предки, изъ рода въ родъ, непогрѣшимыми ангелами оставались. Кто поручится, что прародительница Бирнбаума не согрѣшила, съ цѣлью улучшенія породы, съ чистокровнымъ арійцемъ? Кто знаетъ? Но тогда въ немъ уже не всѣ сто процентовъ нечистой, а все же меньше, скажемъ, всего только шестьдесятъ пять процентовъ нечистой, неарійской... Сны, какъ и галлюцинаціи, имѣютъ подъ собой извѣстную долю основанія. Бирнбаумъ знаетъ, что его дѣдъ, еще ребенкомъ, забранъ былъ въ кантонисты, и послѣ 25-лѣтней вѣрной службы Государю Николаю I-му вышелъ на волю и женился на полюбившей его арійкѣ. Кажется, чего лучше?... Отъ этого брака получилось 2 сына и 9 дочерей, а одна изъ этихъ полюбила уже, на его несчастье, неарійца Соломона Бирнбаума, и въ результатѣ получился Давидъ Соломоновичъ Бирнбаумъ... Вѣдь никакой химіей точно не установить, сколько %% нечистой и чистой крови въ жилахъ Бирнбаума... «Прости меня, Господи, что я всуе произношу имя Твое»!... Значитъ, — такъ должно было случиться!... А если бы ученые и государственные люди, — продолжалъ контрреволюціонно думать Бирнбаумъ, — приняли во вниманіе, что орудія производства и методы у всѣхъ одинаковы, можетъ быть, тогда и впредь разрѣшалось бы Бирнбауму торговать въ чудесномъ Гамбургѣ раками... Но Бирнбаумъ явно склоненъ былъ къ преувеличеніямъ. Слѣдуя своему

Гераклиту, Бирнбаумъ и создавалъ преждевременную тревогу, и раньше всѣхъ исчезалъ. Неусидчивъ былъ этотъ человѣкъ, опасности преувеличивалъ, — и съ одинаковымъ успѣхомъ могъ бы онъ торговать и мухами, — онѣ выростали бы у него въ слона. . .

Съ ранней зарей, на ноги съ трудомъ поднялся Бирнбаумъ, — нелегко старику въ чистомъ полѣ ночку полежать, — помолился онъ на востокъ «Шмай исруэль адонай элоейну адонай эход» и къ вечеру добрался до новаго мѣста обѣтованія. . . По всѣмъ внѣшнимъ признакамъ населеніе этого незначительнаго городка было очень далеко отъ расовыхъ изслѣдованій, но весьма погружено въ повседневную работу, заботу, нужду. . . А по воскреснымъ, ярмарочнымъ и праздничнымъ днямъ народъ валилъ на открытые зеленые луга, на единоборство, на спортивныя состязанія. . . И, толкаясь подобно другимъ несерьезнымъ покупателямъ по ярмаркамъ, столкнулся Бирнбаумъ съ Братолюбовымъ. Обоихъ породнили сразу и «хлѣбъ изгнанія», и сознаніе никчемности. . . А цирковая афиша съ «родными» казаками-великанами сразу зажгла у Бирнбаума фантазію и инціативу: — «Освободить бы этихъ русскихъ Самсоновъ отъ кабалы и эксплуатаціи, образовать вольную труппу чемпіоновъ-борцовъ, — къ черту слоновъ! Вы профессоръ Братолюбовъ, какъ благородная и интеллигентная личность, возьмете на себя роль

импрессаріо, арбитра и кассира, а Бирнбаумъ будетъ по хозяйству и съ шапкой публику обходить... Серьезно, Бирнбаумъ не ищетъ своей выгоды, онъ вѣдь и безъ великановъ и слоновъ раздобывалъ себѣ хлѣбъ... Но дать зря погибать въ стойлахъ невиданной русской красотѣ и мощи, не извлекать изъ этого для нихъ же самихъ пользы, не продемонстрировать передъ Европой послѣвоенныхъ послѣднихъ русскихъ богатырей, — такъ вѣдь это же!... Посудите сами, многоуважаемый Инокентій Пименовичъ, развѣ это борьба, что видѣли мы послѣднее воскресенье? Это же боротьба, драка, сотрясеніе мозга!... Вотъ наши ребята покажутъ этимъ букстеудцамъ!... А затѣмъ повеземъ мы ихъ въ Котбусъ, Фрейвальде, Фюрстенвальде, Крейнвинкель, Мисловицъ... И вотъ еще, господинъ профессоръ, идея какая!... Сегодня, скажемъ, подполковникъ Локоть въ черной маскѣ, а завтра, наоборотъ, подполковникъ Перебейносъ!... А другъ друга они никогда на лопатки не положатъ!... Потому что, видите ли, чутье у меня, какъ у анатома, — лопатокъ-то у обоихъ вовсе нѣтъ!... Обратили вы вниманіе, голова у нихъ съ арбузъ, въ ширь, такъ сказать, и прямо со спины. А спины такія широченныя, покатыя, какъ каучуковая шина у двадцатитоннаго грузовика!... Не люди, и не звѣри, а Самсоны!... Ей Богу!... А въ самомъ разгарѣ борьбы, когда страсти у публики разгорятся, я кликну кличъ:

каждый изъ публики получаетъ изъ кассы двадцать марокъ, если положитъ на лопатки непобѣдимую черную маску, и каждый платитъ въ кассу только одну марочку за неудачу... И «пусть себѣ неудачникъ плачетъ»!... «Пусть неуда-а-ачникъ пла-а-ачетъ!». И да здравствуетъ Гераклитъ!... И его текучая живая идея... Вы помните, конечно, коллега? «Mens agitat molem», — духъ, духъ двигаетъ матерiю... И безъ идеи невозможно!... А если, извините за выраженiе, мужчина безъ идеи, такъ онъ таки баба безъ дите!... А вы, профессоръ, въ качествѣ арбитра, не бойтесь, суетитесь только побольше вокругъ борцовъ, поглядывайте на свои ноги, чтобъ не отдавили, и будьте чуточку осторожны...

Инокентiй Пименовичъ не разъ «довольно убѣдительно» просилъ Бирнбаума не называть его профессоромъ, но — Бирнбаумъ «упрямъ, какъ топоръ»... И вотъ уже два раза въ недѣлю, на вольномъ воздухѣ, идутъ поединки, демонстрируется въ самомъ дѣлѣ открытая, честная борьба, и Локоть въ черной маскѣ никакъ не можетъ побороть, на лопатки положить Перебейноса. Вотъ, кажется, уже коснулся лопатками рогожи, но публику изъ Букстеуде не проведешь, вся она неплатная, каждый охотно бросаетъ по десяти пфенниговъ въ шапку Бирнбаума, «въ пользу бѣдныхъ, еще оставшихся въ живыхъ, казацкихъ генераловъ — послѣднихъ русскихъ голiафовъ».

потому каждый и вправѣ руку просунуть между лопатками и рогожей... И сразу обнаруживается, что лопатки ложиться не хотятъ...

Такъ, съ перерывами въ 15 минутъ, идутъ поединки, и тутъ, въ подходящій, горячій моментъ, Бирнбаумъ бросаетъ ловкимъ жестомъ двадцать марокъ на землю и вызываетъ мѣстныхъ чемпіоновъ, — а все населеніе дюжее, крѣпкое, — кузнецы, молотобойцы, грузчики. «Каждый получитъ сразу двадцать марокъ, если положитъ черную маску, но платитъ всего одну марочку за пораженіе»....

И просятся сами на поединокъ, добровольно вызываются, выступаютъ, подъ добродушный смѣхъ и улюлюканье празднично настроенной, разгоряченной толпы, десятки Шульцевъ, Краузе, Майеровъ... Сами просятся «на пари», на поединокъ, перекликаются и тащатъ еще съ собою соревнователей: «покажите, молъ, вашу силу тутъ, передъ всѣмъ честнымъ народомъ, а не тамъ гдѣ-то надъ недорѣзанными быками»...

Тутъ же, становясь въ очередь, выпираютъ изъ круга, кладутъ на рогожку по марочкѣ. Борются, кувыркаются, копошатся оголенныя, лоснящіяся тѣла, льются потные ручьи, и не проходитъ пяти минутъ, какъ мѣстные геркулесы плотно лопатками припечатаны къ рогожѣ... А женщины, съ подоткнутыми, однимъ угломъ, подолами, простоволосыя, и дѣвицы, съ пышными, вокругъ головы, льняными косами, перехвачен-

ными васильками и маками, и дѣтвора съ румяными лицами, — всѣ добродушно и бранчливо высмѣиваютъ побѣжденныхъ мужей, братьевъ, жениховъ... Да и сами побѣжденные, въ смущеніи и удивленіи — unerhört! — хохочутъ и дружески похлопываютъ своихъ побѣдителей, этихъ «wirklich fabelhaften Kosaken»!.. Отходятъ потомъ, скрываются за кругъ, недоумѣвая: — какъ же это они съ волами, какъ съ цыпленкомъ, а тутъ вдругъ?...

— Unerhörte Kraft in diesen russischen Riesen!

Бѣда только съ Братолюбовымъ... Онъ только и знаетъ, что мечется, прыгаетъ безъ толку вокругъ борцовъ, теряетъ свои роговыя очки и въ излишней суетѣ попадаетъ въ обхватъ... Тогда ужъ Бирнбаумъ мгновенно вытаскиваетъ его изъ поля борьбы и полотенцемъ растираетъ ушибленную грудь арбитра...

Представленіе продолжается, и Бирнбаумъ въ административномъ восторгѣ неустанно вызываетъ все новыхъ и новыхъ добровольцевъ и даже, не безъ юмора, приглашаетъ и дамъ «попробовать»...

— Meine gnädigsten Damen und Fräuleins!... Meine ausgesprochenen Schönheiten! Los!... Bitte!... Wollen Sie nicht einmal probieren?...

Бирнбаумъ прямо влюбленъ въ свою публику, и женская половина искренне кажется ему неотразимыми красавицами... И пфенниги дождемъ сыплются въ его шапку щедро и любовно...

— Всего только марочка за лопатки казаковъ, вашихъ случайныхъ враговъ въ послѣдней войнѣ, но отнынѣ и во вѣки вѣковъ — вашихъ замѣчательныхъ друзей! . . .

— Also, los! . . .

Всѣ довольны и веселы. Шуткамъ и воскресному раздолью конца-краю не видно. . .

Не дремлютъ и голіафы, не дураки же, въ самомъ дѣлѣ. Поглядываютъ они прищуреннымъ любовнымъ взглядомъ на ласково улыбающихся имъ бабъ. . .

Смѣются «генералы» Перебейносъ и Локоть, посмѣиваются смущенно въ прокуренный казацкій дугообразный усъ, — совѣстно имъ какъ-то самимъ ни разу на лопатки не лечь. . .

Висѣло въ то воскресенье знойное, глубокое, слѣпящее небо. . . Къ полудню потянуло вдругъ съ озера свѣжестью, мелкими волнами зарябилъ водный просторъ, заходили высоко барашками обрывчатыя облака, — сорвались, западали на горячую землю крупныя дождевыя слезы. Засуетилась, двинулась было на уходъ собравшаяся на прощальное представленіе воскресная толпа. . . Обидно каждому было уходить. Не часто такое интересное воскресенье на долю выпадаетъ. . .

Вдругъ снова выглянуло, яркимъ свѣтомъ запылало солнце, и борьба, среди безпечнаго и добродушнаго хохота, опять пошла во всю. . . Внезапно изъ гущи толпы раздался чей-то угрожающій сиплый голосъ, даже не голосъ, а бран-

ный ревъ, вызовъ, пересыпанный похабными словечками, на какомъ-то ломаномъ, не совсѣмъ понятномъ, московско-венгерскомъ, полунѣмецкомъ, неграмотномъ и низкосортномъ языкѣ... Бирнбаумъ вздрогнулъ... Не сразу все уловилъ онъ, но достаточно было нѣсколькихъ звонкихъ эпитетовъ... и онъ сразу тогда понялъ... Кое-что уразумѣла и толпа... Оцѣпенѣли всѣ... дрогнули... растерянно поворачиваются вытянутыя лица, ищутъ, откуда идетъ этотъ хулиганскій ревъ, озорной и наглый!.. А «звѣрь» уже близокъ... Онъ грубо напираетъ изъ-за спинъ толпы... Вотъ уже стаскиваетъ съ себя на ходу темнокрасную блузу, рубаху, вотъ поясъ стянулъ покрѣпче. Бѣшеный и вихрастый, высокій и плечистый, татуированный, со скуластымъ веснушчатымъ лицомъ, со сжатыми кулаками — трехпудовыми гирями, работая локтями и грудью, грубо расталкивая всѣхъ, онъ бѣшено напираетъ и еще издали точно плюется словами въ лицо Перебейносу и Черной Маскѣ.

— Мошенство!... Швиндель!... Негритянскія морды!... Бѣлая русская свинья!... Kosakenschwein!...

Замерла, отступила, подалась назадъ празднично-добродушная толпа... Кто это?!.. Откуда?!.. Was ist los!... Неспокойно и тревожно зашевелилась масса... Однако не разбѣжалась... Какъ вкопанные, застыли казаки... Ждутъ... Откуда эта неслыханная брань?!... Ругатель,

повидимому, не одинъ... Еще нѣсколько глотокъ орутъ ему на поддержку... «Сорви-ка, Карлушка, этимъ бѣлогвардейскимъ бандитамъ голову los!...»

Брань неслась все наглѣй и напорнѣй...

— Сто долларовъ!... Убери твои двадцать марокъ!... Вотъ, получай!... Сто долларовъ тебѣ, негритянская морда, если меня на лопатки положишь!... Сто долларовъ, понялъ?!... Маску долой!... Los!...

Оцѣпенѣла, насторожилась толпа... Откуда этотъ колоссъ?.. Никто его во всей округѣ не видалъ... Сто долларовъ?!... Откуда взялся «dieser Tieger», что такъ бѣшено оретъ? Противъ такого и казакамъ не устоять. Жадные и жалостливые взоры уже устремлены на Перебейноса и на Локтя въ черной маскѣ.

Стоятъ казаки, ждутъ недвижно... Высокіе и статные, не шелохнутся, словно только что безупречно отлитыя бронзовыя статуи. Чуть прищуренные глаза смотрятъ въ упоръ на наступающаго врага...

— Что?... Испугался, бѣлій русскій собакъ?!...

Огромный кулакъ — какъ взнесенный молотъ. Упалъ, какъ молнія, внезапный ударъ прямо въ лицо черной маскѣ, Еруслану Локтю!... Дрогнула, всѣмъ тѣломъ назадъ подалась, зашаталась, кровью обливаясь, черная маска... Въ тотъ же мигъ заслонилъ друга Перебейносъ. Загребъ

обѣ вражескія ручищи, словно клещами ухватилъ... Стоятъ другъ противъ друга два сцѣпившихся колосса, не шелохнутся. Только руки ихъ вытянутыя, какъ стальные упоры, дрожатъ, напрягаясь, чуть замѣтной дрожью... Оправился между тѣмъ Локоть, крикнулъ пріятелю: «Будя, мнѣ его предоставь!».. — «Погоди, успѣешь,» — прохрипѣлъ Перебейносъ.

Густое живое кольцо изъ селянъ Букстеуде, затаивъ дыханіе, сочувственно и облегченно выражало свой восторгъ, когда казаку удавалось ловко уходить изъ мучительныхъ охватовъ противника... Замерли на мѣстѣ, забывъ свою привычную суетню, арбитръ Братолюбовъ и администраторъ Бирнбаумъ... Вотъ оторвались другъ отъ друга противники, разошлись на нѣсколько шаговъ, передъ тѣмъ, какъ броситься снова.

— Теперь мой чередъ!

Передъ незнакомымъ борцомъ сталъ Ерусланъ Локоть. Кровь текла по его черной маскѣ. Сошлись враги, цѣлясь ухватить другъ друга за кисти рукъ... Не любитъ Ерусланъ «мертвой боротьбы», однако остановился на мгновеніе, вытянулъ противнику навстрѣчу руки. «Бери, хватайся за кисти, изволь«...

Сомкнулись вновь руки, а ноги уперлись, точно упоры, въ мертвую точку... Народъ замеръ... Вдругъ Локоть изо всей мочи дернулъ къ себѣ противника, и высвободившіяся въ тотъ мигъ руки казака стальнымъ кольцомъ обхватили вра-

га на высотѣ груди. Сперва незамкнуто было это кольцо, но вотъ оно уже у самого пояса. Вотъ сомкнулось наглухо, и незнакомый борецъ какъ-то сталъ вдругъ тоньше и выше... Вотъ онъ странно дернулся въ клещахъ Еруслана, голова вдругъ откинулась, подогнулись въ колѣняхъ ноги... Что-то хрустнуло глухо, и тѣло незнакомца, словно сдѣланное изъ каучука, перегнулось пополамъ черезъ кованый обручъ рукъ Еруслана. Казакъ разжалъ руки, и недвижное, бездыханное тѣло, точно мѣшокъ безъ костей, рухнуло беззвучно на землю.

— Вотъ тебѣ «негритянская морда! — прогудѣлъ Локоть.

Арбитръ Братолюбовъ не сразу понялъ, что случилось. Онъ твердо помнилъ, что случайно споткнувшагося противника «высчитываютъ», и онъ уже 23 отсчиталъ... Вдругъ кругомъ прорвалась плотина оцѣпенѣнія. Толпа кинулась въ безпорядочное бѣгство. Крики смятенія, женскіе визги разносились по всему полю... Впереди всѣхъ бѣжалъ Бирнбаумъ, въ отчаяніи призывая городового, шуцмана, вахмистра... Вдругъ, такъ же неожиданно, кинулся Бирнбаумъ назадъ, къ своимъ... Не пропадать же ста долларамъ... Бирнбаумъ мигомъ рѣшилъ въ своемъ умѣ всю правду сказать полиціи. Весь народъ вѣдь видѣлъ, что русскіе великаны ни о чемъ напередъ не знали, никакихъ умысловъ не имѣли и даже не вызывали на поединокъ этого коммуниста. Онъ

на нихъ самъ напалъ. Отъ однихъ его неслыханныхъ оскорбленій его самого, Бирнбаума, «въ жаръ бросило»! . . . Вотъ только надо ли говорить, что онъ самъ слышалъ, какъ хрустнулъ у него позвоночный столбъ? Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ такія подробности? . . (Такъ соображалъ на бѣгу Бирнбаумъ). Бирнбаумъ въ подсудимые попасть не можетъ. А въ свидѣтели ужъ онъ уже попадетъ! . . . Непремѣнно попадетъ. . . Опять въ свидѣтели! . .

Убійство было налицо. Посадили, конечно, и вотъ люди сидятъ. Должны сидѣть. И протестовать противъ медленности просто глупо. Не было еще на свѣтѣ случая, чтобы слѣдственныя власти про продсудимыхъ вовсе забыли. Успѣется. придетъ и судъ. Вотъ ужъ одиннадцать мѣсяцевъ дожидаются. . . А хоть бы и тысячу лѣтъ! . . И «тысяча лѣтъ промчится такъ же быстро, какъ вчерашній день». . .

Всякимъ мученіямъ приходитъ конецъ. . . Вотъ, наконецъ, уже второй день тянется процессъ, и тщетно добиваются судьи услышать отъ самихъ подсудимыхъ хоть одно толковое слово. Ни отъ оріенталиста, приватъ-доцента Братолюбова, ни отъ его великановъ-борцовъ ничего толкомъ не добьешься. Давидъ Бирнбаумъ формально непричемъ. . . Онъ служилъ по хозяйству, съ шапкой обходилъ онъ «почтеннѣйшую публику», всей труппѣ и дирекціи стиралъ онъ бѣлье, развѣши-

валъ его на кольяхъ и стряпалъ въ желѣзномъ котелкѣ обѣдъ...

— Вы только посмотрите на нихъ, господа судьи. Они же, какъ дѣти малыя, хоть и великаны... Развѣ такіе убиваютъ?... Они за честь... не за себя...

— Свидѣтель, вы слишкомъ много говорите... Отвѣчайте только на вопросы... Собственно, по даннымъ слѣдствія, и вамъ, Herr Birnbaum, слѣдовало бы сидѣть на скамьѣ подсудимыхъ...

— Ой, Боже мой!... — встрепенулся бѣдный Бирнбаумъ.

— Если бы вы, свидѣтель, не посовѣтовали подсудимымъ играть поочередно «черную маску», покойный не имѣлъ бы повода кричать: »негритянская морда»!..

— Aber mein Gott!!!... Но тогда несчастный покойникъ все равно кричалъ бы: «русская бѣлая свинья»!... И вообще. господа судьи, самъ Гераклитъ сказалъ!... Извините, извините... я уже молчу...

Судьи давно уже переглядывались... Нормальный ли человѣкъ этотъ свидѣтель Бирнбаумъ?... Пошептались даже... Бирнбаумъ не могъ не почуять въ нихъ какого-то добродушія и даже, какъ показалось ему, нѣкотораго сочувственнаго отношенія къ подсудимымъ... Говорилъ въ пользу подсудимыхъ и защитникъ по назначенію Kleinsilber. Только Бирнбауму не нра-

вилось его сухое отношеніе и то, что говорилъ онъ одни Tatsachen.

Судьямъ надо было выяснить еще одинъ вопросъ, основной стимулъ того, что случилось.

— Объясните, подсудимые, за чью честь вы, собственно, теперь заступались?.. Вѣдь вашей Россіи нѣтъ?...

Бирнбаумъ, съ разрѣшенія судей, коротко поговорилъ съ Братолюбовымъ и еще короче съ великанами-подсудимыми.

— Разрѣшите, господа судьи, деликатно замѣтить, что Россія еще существуетъ! Развѣ измѣнится, скажемъ, семга, если кто-нибудь приклеитъ къ ней ярлыкъ селедки?... Россія, какъ и Германія, Франція, Англія, Италія, вѣчна, — ибо вѣчны Пушкинъ и Толстой, Гете и Шиллеръ, Вольтеръ и Дидро, Шекспиръ и Данте!... Развѣ можетъ умереть поэзія?!...

«Hoch klingt das Lied vom braven Mann...
Wie Orgelton, wie Glockenklang»...

или

«О чемъ шумите вы, народные витіи,
Зачѣмъ анафемой грозите вы Россіи»?!...

или... — и Бирнбаумъ, забывъ, повидимому, мѣсто и время, сдѣлалъ, въ охватившемъ его упоеніи, повелительный знакъ, и всѣ трое подсудимыхъ поднялись со своихъ мѣстъ, и молитвенно, въ одинъ голосъ, продекламировали:

«Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышетъ,
Гдѣ рѣки льются чище серебра» . . .

Продекламировали и тихо опустились, притихли. На ихъ блѣдныхъ, измученныхъ лицахъ была тоска и, рядомъ съ ней, было тихое сіяніе вѣры. . .

И было все это такъ странно, такъ нежданно и чудесно, что всѣ въ залѣ, и публика, и судьи, хоть и не поняли ничего, почувствовали на мигъ сквозь всю нескладицу словъ вѣщій голосъ какой-то подлинной правды.

Были, конечно, строгія предупрежденія и призывы «къ порядку», но — вѣщее слово было услышано. . .

Пренія кончены. Слово предоставлено прокурору. Хорошо, что подсудимые ничего не поняли. Зато содрогался и холоднымъ потомъ обливался Бирнбаумъ, слыша въ этой краткой, но убійственной рѣчи, что здѣсь сидятъ, «если не убійцы въ прямомъ смыслѣ слова, то все же наши недавніе враги, и легко себѣ представить, сколько нашихъ солдатъ передушили эти русскіе скифы. . . А потому я требую для подсудимыхъ, по статьѣ такой-то, девять мѣсяцевъ арестантскихъ ротъ» . . . Возражалъ, но «безъ огня и безъ душі», Kleinsilber, защитникъ по назначенію. Послѣднее слово за себя и за подсудимыхъ взялъ на себя долго колебавшійся Братолюбовъ. . . Переводить пришлось тому же Бирнбауму, причемъ не обошлось безъ обычныхъ импровизацій.

— Господа судьи! .. Господинъ президентъ!.. Господинъ прокуроръ! .. И господа присяжные засѣдатели! .. Наши подсудимые, хоть и великаны, но какъ дѣти малыя... Они просятъ сказать вамъ: «Бываютъ ли болѣе горячіе патріоты, чѣмъ нѣмцы? .. Видѣлъ ли міръ болѣе храбрыхъ, въ страшной нуждѣ и лишеніяхъ, солдатъ?! ... И виноваты ли ваши и наши арміи, наши чудесныя страны, что наши и ваши, извините за выраженіе, дипломаты такъ накрутили, что противъ воли Бисмарка стали мы драться другъ съ другомъ?! ... И что же получилось? ... И мы, и вы разгромлены и оплеваны! .. Къ лицу ли вамъ, въ нашемъ случаѣ, судить невинныхъ людей только за то, что одного, всего на всего одного подосланнаго марксиста эти ребята раздавили? ... Вы же сами въ апрѣлѣ 1933 года всю красную головку раздавили. И когда-нибудь не исторія, а человѣчество зачтетъ вамъ это! ... И хочу я васъ завѣрить именемъ будущей освобожденной Россіи, что русскіе съ нѣмцами во вѣки вѣковъ драться не будутъ... Освободите этихъ великановъ, этихъ дѣтей!! ... И освободите насъ въ будущемъ, — только вы одни и можете, — отъ совѣтскихъ Пугачевыхъ! ..

— Господинъ Бирнбаумъ, я лишаю васъ слова! ...

Недолго засѣдали присяжные засѣдатели и на всѣ поставленные вопросы единогласно отвѣтили: «невиновны»...

Бирнбаумъ, естественно, и тутъ не удержался, чтобы не воскликнуть: «Есть еще судьи въ Букстеудѣ»!.. А потомъ, обернувшись къ подсудимымъ, въ шутливомъ гнѣвѣ спросилъ ихъ: — «Что же вы, идолы нѣмые, сидите? ... Оправданы вы, свободны! ... Или опять ничего не поняли? ...»

Была тихая, іюльская ночь, когда антрепренеръ Бирнбаумъ и его труппа, Братолюбовъ, Перебейносъ и Локоть, уходили изъ городка. На безлюдной площади, высоко на колокольнѣ собора, такого чудесно бѣлаго, пробило полночь, и мирно и медленно гудѣла мѣдь... Такъ примиряюще мерцало звѣздами темно-синее небо, и недавніе обреченные набожно перекрестились... Прислушиваясь къ ночнымъ, отдаленнымъ шорохамъ, странники шли, сами не зная, куда ведетъ ихъ путь. Всѣ молчали. Они были уже въ полѣ, когда раздался голосъ мудрого Гераклита, Давида Бирнбаума...

— Что вы, милые, призадумались??.. Куда намъ идти? ... Впередъ, конечно! .. Не назадъ же во всякомъ случаѣ! ... Все течетъ, течемъ и мы. А лѣто-то какое чудесное! ... И небо, прямо украинское, наше! ... А объ завтра не думайте, Все будетъ хорошо... Съ одинокими Господь! ..

МУЖИКЪ И ТРИ СОБАКИ.

Сестры чуютъ не столько разумомъ, сколько сердцемъ, когда оставлять больныхъ съ близкими и когда къ нимъ вновь, тихимъ ангеломъ, входить.

Больная одиннадцать сутокъ боролась со смертью за секундный глотокъ воздуха, и сестра Елизабетъ и мужъ больной, Никита Демьянычъ Сѣриковъ, ни на минуту не оставляли ея, глазъ не смыкали, сторожили, въ чемъ были, и переживали вмѣстѣ съ больной ея долгую бездыханную недвижность послѣ операціи, и частое отсутствіе пульса, и агонію, и — отстояли ее наконецъ. А сестра тогда, не впервые, говорила:

— Все еще будетъ по хорошему. Жизнь что море, а дни что бурныя рѣченки, и выпадаютъ часы, что цѣлой жизни стоютъ. . .

Одиннадцать сутокъ боролись за жизнь молодой женщины. Эти долгія ночи и отрывочныя

думы сторожатъ, окутываютъ ложе тяжко больныхъ. Къ вечеру ежедневно все случайное спѣшитъ, торопится безшумно уходить, и въ палатахъ остаются, наединѣ съ самимъ собой, оперированные, наркозные, часто приговоренные. И при нихъ, на долгую ночь, устраиваются, угробляются, рядомъ, въ глубокое больничное кресло, сестры-монахини.

Къ вечеру тоже торопится все объять чернѣющая мгла. Хоть и пронизанная одинокимъ, холодно металлическимъ свѣтомъ матовой лампочки, она все такая давящая, какъ бы щуплая, размышляющая темнота...

Оперированные сегодня продолжаютъ въ наступающей чернотѣ еще глубже падать... плыть.. Голова и память уходятъ куда-то внизъ, разстаются съ тѣломъ... Все внутри горитъ, и трудно, нѣтъ силъ даже пальцы собрать, сжать... Тѣла нѣтъ. Нѣтъ вѣсу. Куда все дѣлось... Вчера еще было 53 кило... Хоть бы по человѣчески крикнуть, застонать!.. Ни вѣсу. Ни тѣла.

Сестра, долгимъ, печальнымъ взоромъ глядитъ на колыхающееся въ углу теплое пламя лампады. Длинный, во весь пролетъ больничнаго корпуса, корридоръ, устланный сѣрожелтыми плитками, свѣтится бездушнымъ свѣтомъ, и только надъ дверьми нѣкоторыхъ палатъ бдительно горитъ матовый, густо-красный огонекъ,—сюда, въ теченіе ночи, безшумно и съ тревогой, заглядываютъ дежурныя, такъ же молча, вопрошающимъ взо-

ромъ, перекликаются съ безсмѣнной сестрой и еще озабоченнѣе исчезаютъ...

А больные.. Ихъ мысли, затаенныя, какъ тѣни, сквозятъ на перебинтованныхъ, полуживыхъ силуэтахъ, какъ блѣдныя отраженія вечера на сырыхъ, слабо освѣщенныхъ, опустѣвшихъ, отшумѣвшихъ тротуарахъ... И не проникнуть въ эти сумерки больного. Сестра, она одна, угадываетъ какое-то неосязаемое, но все же перерожденіе, воскрешеніе, нѣчто вродѣ внутренняго процесса осознанія, обновленія. Одной сестрѣ такъ явно удается прочитать на лицѣ больной муками написанныя, недоумѣнныя полуслова, полумысли... «выздоровѣть бы только... спасеніе не въ спѣшности... въ терпѣніи... въ прощеніи...».

Страданія больной нестерпимы, и сестра продолжаетъ мягко грѣть въ рукѣ своей недвижные, стынущіе пальцы, тепломъ своимъ дышать на нихъ, а ея большіе, ясные глаза съ поднятыми рѣсницами, что крылья голубя, молятъ, просятъ объ исцѣленіи...

Къ восьми часамъ вечера, каждый день, слышится въ пустѣющемъ корридорѣ госпиталя ровшитая, четкая молитва дежурной, и отдѣльныя слова ея, падая на зябкій полъ, кажется, ползутъ дальше, припадаютъ, приникаютъ къ дверным щелямъ палатъ, и недвижно внемлютъ этимъ звукамъ больные...

Голосъ молящей, съ зарей и къ сумеркамъ, произноситъ:

«Den letzten Gruss der Abendstunde
Send' ich zu Dir, o goetlich Herz,
In Deine heilige Liebeswunde
Senk' ich des Tages Freud und Schmerz».

«O goetlich Herz, all meine Sünden
Bereue ich aus Lieb zu Dir,
O lasse mich Verzeihung finden,
Schenke Deine Lieb aufs neue mir».

«Deiner heiligen Herzenswunde
Schlaf' ich nun sanft und ruhig ein.
O lass sie in der letzten Stunde
Mir eine Himmelspforte sein. Amen».

Съ послѣдними звуками, съ покорнымъ «аминь», все живое, внѣ палатъ, сразу глушится, и залегаетъ на долгую ночь сторожкая тишина.

Придетъ утро, станетъ легче. Съ разсвѣтомъ, съ блеклыми очертаніями зари, всѣмъ легче. Точно входитъ чье-то мирное дыханіе и чья-то невидимая, безплотная рука опускается и прикасается къ горячечному, измученному тѣлу. И борется одиннадцать ночей, томится еще не совсѣмъ угасшій духъ, и въ груди, и въ легкихъ, какъ бы въ верхушкѣ застывающей лавы, въ отдѣльномъ фокусѣ, что-то еще клокочетъ, горитъ огнемъ, борется за жизнь... Долги эти ночи... И словно въ узкомъ ущельѣ, въ темнотѣ и духотѣ, за каж-

дый миллиметръ воздуха и свѣта цѣпляется духъ живой, и съ послѣднимъ усиліемъ слабѣющей воли, быть можетъ, въ послѣдній разъ, вырывается онъ вдругъ со стономъ на волю, и — воздуха, воздуха, наконецъ, глотнувъ, оживаетъ на мгновеніе, и какъ бы тушится, смягчается раскаленная рана, и. . . — какъ же не чудо? — дивятся совсѣмъ измученные мужъ и сестра: — вдругъ къ разсвѣту, на одиннадцатое утро, невѣсть откуда, — мѣрное дыханіе, полуоткрытый взоръ, и еле внятный вздохъ, и перегорѣвшія, еле шевеляющіяся губы беззвучно просятъ всего только одной освѣжающей капли. . . И впрямь, вошелъ съ зарей Невидимый, Вездѣсущій, — муку смягчилъ, почернѣвгую, было, страницу перевернулъ и новую, живую пріоткрылъ. . .

* * *

— Разскажите же намъ, Галкинъ, подробности, — просила хозяйка дома, Лидія Николаевна Дроздова.

Дроздовыхъ считали въ Берлинѣ людьми правыхъ взглядовъ, но взглядовъ своихъ они никому не навязывали. Потому и гости, охотно собиравшіеся у Дроздовыхъ разъ въ три недѣли, сами разныхъ политическихъ воззрѣній, веселились всѣ одинаково превосходно.

— Жизнь наша, господа, — говорила друзьямъ и гостямъ своимъ хозяйка дома, — полна личныхъ заботъ и нужды, и эта наша жизнь дав-

но уже не течетъ, какъ въ былые годы, на новыхъ мѣстахъ, полной рѣкой, а — какъ бы сказать? — окольными, боковыми, мелкими струйками. Мелѣетъ она, жизнь наша, образуя сыпучіе островки со скудной растительностью. Потому, друзья мои, порѣшили мы съ мужемъ хоть разъ въ три недѣли никого не пытать политической ворожбой, — на все Божья воля.

И Лидія Николаевна придумывала, какъ она выражалась, «внезапныя нападенія» на отдѣльныхъ гостей, устраивала своеобразныя литературныя импровизаціи, и тогда ею намѣченный — и обреченный — импровизаторъ долженъ былъ занимать общество разсказомъ, тутъ же сочиненнымъ. . . Не мало курьезнаго представляли собой эти импровизаторы, сбиваясь часто на давно ими гдѣ-то прочитанное. Въ этомъ случаѣ они тутъ же уличались и жестоко вышучивались. Часто выжимались воспоминанія. . . Но всего чаще гости обмѣнивались мыслями о текущемъ. Одни о новыхъ литературныхъ именахъ, другіе, слѣдящіе за высокой политикой, о новѣйшихъ пулеметахъ для воздушныхъ кораблей, третьи же толковали больше насчетъ равенства и братства, доказывали, что, разъ будетъ «Панъ-Европа», то должно быть, — и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, — «панъ-отечество» и «панъ-родина» и — что вообще всѣмъ пора стать «лицомъ ко вселенной». . . Хозяинъ дома, Петръ Ивановичъ Дроздовъ, деликатно выслушивалъ и такого гостя, замѣчая, од-

нако, своей женѣ послѣ ухода послѣдняго, что «намъ, русскимъ, теперь вообще волноваться не слѣдуетъ», ибо «мертвые сраму не имутъ». Не совсѣмъ спокойно, въ такія минуты, полагалась жена на мужа. Зорко слѣдила она за нимъ, когда нѣкоторые гости очень долго останавливались на этихъ «панахъ», — въ эти минуты она оказывалась возлѣ мужа, ибо «тогда руки у него трясутся, и пальцы чего-то ищутъ, складываются въ кулаки», и Лидія Николаевна метала глазами молніи умоляющихъ взоровъ въ сторону этихъ ораторовъ. Въ одномъ единодушіе было полное: — всѣ гости, послѣ обмѣна газетными новостями, усердно помогали хозяйкѣ развязывать и разставлять привезенные ими же кульки съ жареными, мерзлыми гусями и полдюжиной разныхъ водокъ и коньяковъ.

Сегодня очередное нападеніе сдѣлала Лидія Николаевна на Галкина, за отсутствіемъ, какъ шутили гости, давно нацѣленнаго и потому сбѣжавшаго Зозулина.

— Увольте, Лидія Николаевна, — взмолился Галкинъ, — ничего я не придумаю, не ожидалъ, не подготовился. . .

Но Лидія Николаевна не изъ такихъ, чтобы отъ нея «отвертѣться». Съ присущимъ ей ласковымъ ядомъ гостепріимства Дроздова могла заставить и столъ заговорить, и первая же готовилась вкушать муки экспромта.. . Галкинъ долженъ былъ подчиниться этому, какъ чему-то не-

избѣжному. Тяжело вздохнулъ, задумался, сомкнулъ глаза и, какъ показалось всѣмъ, сразу потускнѣлъ. Чтобы ободрить его, одинъ изъ начитанныхъ гостей совершенно резонно замѣтилъ: «мы вѣдь не ждемъ отъ васъ, Галкинъ, ничего Чеховскаго, даже Пруста и Джойса можете не упоминать. . Ну, съ Богомъ, начинайте и не томите» . . . Воцарилась тишина. Всѣ сразу притихли, и сами дивились про себя, откуда вдругъ вошла, точно крадучись, эта пытливая тишина. Недавно еще голоса, скрещиваясь, трещали, что щепки въ каминѣ, и вдругъ все смолкло.

— Господа, я кое-что припомнилъ, но буду разсказывать съ закрытыми глазами. . . такъ мнѣ легче будетъ вспоминать, памятью нащупывать плохо запомнившійся разсказъ одного моего пріятеля, Сѣрикова, Никиты Дамьяныча. Вотъ что однажды повѣдалъ мнѣ этотъ Сѣриковъ.

— Сѣриковъ? . . — удивился сосѣдъ Мухинъ, почесавъ у себя бровь и изобразивъ прищуренную улыбку.

Хозяйка дома никого изъ гостей своихъ въ обиду не давала и съ сухимъ укоромъ погрозила Мухину. Галкинъ, точно не слыхалъ, продолжалъ рыться въ памяти, закрывъ глаза, погруженный въ себя.

— Если разрѣшите, добрая Лидія Николаевна, я вотъ эту лампочку выключу. . . свѣтъ мѣшаетъ. . . Такъ вотъ, господа, мой пріятель Сѣриковъ утверждалъ, — говорилъ: «самъ видѣлъ»,

— есть, говоритъ онъ, кровь голубая, первый сортъ, и есть кровь красная, но она, понимаете, уже не та...

Лидія Николаевна замѣтила, что Мухину уже не сидится, вотъ-вотъ запротестуетъ, со стула прыгнетъ, и она деликатно предупредила его: — «Никаноръ Ермолаичъ, я васъ въ кладовую съ провизіей запру, не мѣйайте, голубчикъ».

— Сѣриковъ разсказывалъ мнѣ, — продолжалъ Галкинъ, — что онъ, вѣроятно, изъ мужиковъ, такъ какъ, молъ, долго и безропотно можетъ все выносить, любую обиду, и гордость въ немъ какъ будто спитъ, терпитъ, молчитъ. Иные называютъ такое состояніе «замороженной гордостью». Сѣриковъ съ этимъ не соглашался, — «Нѣтъ, говоритъ, есть замороженные кредиты, какъ вообще мороженое, — одни накручиваютъ, другіе ѣдятъ. А въ комъ настоящая гордость, то она, какъ ртуть, сразупопретъ. У меня же она, говоритъ, эта гордость, возжигается только тогда, когда, скажемъ, обида, какъ и терпѣніе, переваливаетъ выше усовъ. Вотъ какъ высоко должна доходить во мнѣ обида, чтобы кровь закипала». Тогда, дѣйствительно, Сѣриковъ поступалъ «по мужицки», какъ выговаривала ему его жена, особа очень-очень знатная.

— Не княгиня-ли? У вашего Сѣрикова, какъ его, Демьяныча что ли, жена княгиня, — съязвилъ насмѣшникъ Мухинъ.

Галкинъ кончиками пальцевъ потеръ свои виски и спокойно продолжалъ.

— Что же, что княгиня? Разницы теперь никакой. Однако, мой другъ Сѣриковъ имѣлъ тогда капиталъ съ шестью нолями, и какъ разъ къ тому времени онъ, по моему, и съ ума сошелъ. «Человѣкъ, говорилъ онъ, долженъ свою природу, свою кровь довести до совершенства». Вы видите, друзья мои, — продолжалъ Галкинъ, — Сѣриковъ человѣкъ не нашего круга, иной, и умъ за разумъ у него зашелъ. . . Что же изъ того, что княгиня? Да, княжну въ жены взялъ себѣ Сѣриковъ, настоящей русской княжеской крови, — говорилъ Галкинъ словно про себя, совсѣмъ не возражая Мухину. — Бываетъ, — продолжалъ Галкинъ, какъ бы утверждая своего Сѣрикова, — кровь голубая и красная... — Галкинъ глубоко задумался, точно борясь съ какими-то воспоминанiями. — Да, господа, Сѣрикова долго, долго потомъ допрашивали въ полицейпрезидiумѣ. Жена его не то покушалась на самоубiйство, не то по неосторожности тяжело ранила себя. . . И пошли, понимаете, допросы, почему, молъ, у Сѣрикова руки въ крови, почему убѣжалъ онъ изъ спальни жены, почему заперся онъ въ спальнѣ своей, почему у него зеркало разбито!.. Почему собакъ съ балкона выбросилъ. . . и какъ могъ онъ, мужъ, выстрѣла не слышать?! . . «Долженъ тебѣ доложить, — разсказывалъ мнѣ Сѣриковъ, — что между моей спальней и спальней моей жены бы-

ла анфилада очень холодныхъ комнатъ, гостиная, будуаръ, гардеробная, массажная, предванная, ванная... И проходить эти комнаты было мучительно, — княгиня, видишь ли, дышала по ночамъ свѣжимъ воздухомъ, поздно читала, долго курила, и съ ней неразлучны были ея три любимицы, собаки, и не вылѣзали эти проклятыя изъподъ шелковаго одѣяла, и ненавидѣли меня. Зайдешь ночью по экстренному дѣлу, страшно лаются, вой подымаютъ»...

«Ходилъ я къ женѣ, Галкинъ, рѣдко, очень рѣдко. Дѣлать мнѣ тамъ было нечего. И собаки меня не признавали. А за что, я тебя спрашиваю? Держали ихъ въ холѣ-нѣгѣ, все за мой счетъ, а лаялись, проклятыя, прямо не подступись!..»

Упорно допытывался тогда комиссаръ про замалчиваемую будто бы Сѣриковымъ какую-то семейную тайну.

— Но, черезъ прислугу, — чего проще, — было установлено, что: — «напротивъ, барыня-княгиня сами запирались въ своихъ покояхъ, а барину полагалось пользоваться ванной только одинъ часъ, отъ восьми до девяти утра, а прочее время барыня запиралась. А чтобы нашъ баринъ у себя запирался — отъ кого? — такъ это невозможно».

— Да, да... Но отъ кого же всетаки бѣжалъ вашъ Сѣриковъ въ ту ночь? Да, кстати сказать, и самого Сѣрикова нашли запертымъ, съ окровавленными руками, въ его собственной спальнѣ,

прямо, какъ у Джойса, — вставилъ одинъ изъ гостей, усерднѣйшій посѣтитель всѣхъ зарубежныхъ литературныхъ собесѣдованій. Нѣкоторые посѣтители докладовъ путаютъ Джойса съ Бернардомъ Шоу...

— Нѣтъ, это не то. Сѣриковъ и я, мы ни разу вашего Джойсмана не читали. Видите ли, въ ту роковую ночь пріятель мой, Сѣриковъ, чѣмъ-то глубоко задѣтый и оскорбленный, бросилъ, съ отчаянія, должно быть, своей женѣ, что у него отъ другой женщины два внѣбрачныхъ сына, близнецы, и отъ роду имъ уже мѣсяцевъ восемь...

— Кааакъ?! Ну, какъ же такому Сѣрикову не убѣжать къ себѣ послѣ такого гнуснаго признанія!.. Ха-ха-ха!.. Такому муженьку стрѣляться и Богъ велѣлъ, но не ей же, его женѣ.

— Ничего-то вы не поняли, господинъ Джойсманъ, — отрызнулся задѣтый Галкинъ. — Понимаете, у супруговъ не было дѣтей...

— Но у него-то сразу оказались. Вы сами говорите, близнецы, сразу пара.

— Да, случай незаурядный... У супруговъ не было дѣтей, а были они еще люди молодые. Но молодая красавица-жена, послѣ вѣнца, сразу заявила Сѣрикову, что она «всѣ эти домашнія, наслажденія», это такъ называемое «всѣми освященное совмѣстное спанье», — не признаетъ. Такъ и сказала: — «этимъ пусть занимаются другіе!»..

Лица у гостей сразу вытянулись, точно кто булавкой ткнулъ имъ въ спину. А Галкинъ впервые

почувствовалъ удовлетвореніе за своего Сѣрикова и бодрѣе продолжалъ свой разсказъ.

— Сѣриковы занимали виллу въ два этажа, съ внутренними лѣстницами, и комнатъ было 26, обставленныхъ съ роскошью, не уступавшей дворцамъ. . . балканскихъ королей. Въ этихъ прохладныхъ и окаменѣвшихъ покояхъ никакимъ прожекторомъ не обнаружить и нитки паутины, но отъ зоркаго глаза не ускользала однажды осѣвшая, точно студень, плотная, стылая тишина. Сѣриковъ до того, какъ женился въ бѣженствѣ, не имѣлъ ни семьи, ни знакомыхъ, ни друзей, ни недруговъ, ничего въ прошломъ, и даже лишенъ былъ, не въ примѣръ прочимъ, нѣкоторыхъ безобидныхъ, но трагокомическихъ воспоминаній. Большевики ничего у него не отняли, и ушелъ онъ, Сѣриковъ, оттуда потому, какъ говорилъ онъ, «что дышать нечѣмъ стало». Его земляки, каждый въ своемъ родѣ, продолжали жить впроголодь, сегодняшнимъ днемъ, но къ вечеру, за столомъ, хоть и скуднымъ, жили, вспоминали, дышали родными, дѣтьми, жениным участіемъ, лаской и дружбой.

У Сѣрикова, господа, въ прошломъ было безрадостно и пусто, жилъ онъ скромно, незамѣтно, хотя и считался весьма состоятельнымъ. И вывезъ онъ оттуда, въ густой копнѣ волосъ, всего пять крупныхъ, сине-бѣлыхъ камней, вѣсомъ въ 163 карата! И заграницей, въ Берлинѣ и Парижѣ, Сѣриковъ отогрѣвался все такимъ же скром-

нымъ жильцомъ въ чужой привѣтливой семьѣ, гдѣ дѣти-подростки полюбили его и втягивали добраго дядю въ свою игру, называя его «тетя Ивона».

— Вотъ и у васъ, Галкинъ, видъ такой, что хочется называть васъ не Иваномъ Кузьмичомъ, а Ивоной Кузьминишной, право, — съ какимъ-то неожиданнымъ участіемъ вставила внимательно слушавшая Лидія Николаевна.

— Благодарю васъ... Рѣчь не обо мнѣ, а о Сѣриковыхъ. Такъ вотъ, эта самая «тетя Ивона» затосковала вдругъ «по семейному ладу», какъ говорилъ онъ, и страстно захотѣлось ей замужъ, — захотѣлось Сѣрикову родного угла, добраго и ласковаго друга, жены, и — дѣтей, побольше дѣтей, и порѣшилъ онъ жениться на... Вотъ, тутъ, на этомъ пунктѣ, господа, помню, пріятель мой Сѣриковъ, когда мнѣ разсказывалъ, сдѣлалъ долгую, тяжелую паузу...

Галкинъ тоже вдругъ умолкъ, провелъ рукой по горячему лбу, въ себя ушелъ...

— «Дьяволъ меня попуталъ», — сказалъ мнѣ послѣ паузы Сѣриковъ. — «И хорошо, что попуталъ, хорошо, что я ума рѣшился. Нѣтъ въ жизни музыки, музыка — позже, а ты, братъ, извѣдай, потерпи, согнись, познай все». — Вотъ, вотъ, именно эти слова произносилъ тогда, помню, Сѣриковъ. И продолжалъ онъ: — «Съ обыкновенной женщиной что? Она, какъ ты, какъ я, какъ всѣ... И что она можетъ такое дать, обыкновен-

ная женщина, чѣмъ бы и умъ твой и сердце поразить, всего тебя перевернуть, всю простоту твою разсѣять? . . А? . . Не могу я, братъ Галкинъ, все это тебѣ разъяснить. . . Бананъ, вотъ, скажемъ. Возьмешь его, этотъ бананъ, на ладонь положишь, все ясно, просто и каждому понятно. . . Бананъ и есть бананъ. Такъ я говорю, другъ Галкинъ? А женщины въ мірѣ, должно быть, есть такія, — породой называется, — что странно и чудно, и не раскусишь ихъ сразу! . . Объяснить, вынь да положь, не могу, но мнѣ самому, Галкинъ, все превосходно ясно. Женятся же, Господи Боже мой, на милыхъ, обыкновенныхъ, добрыхъ дѣвушкахъ, и счастливы. . . А вотъ меня, Сѣрикова, «дьяволъ попуталъ» — перепуталъ! . . Деньжонокъ завелось у меня, Галкинъ, съ шестью нолями, а самъ всѣмъ я былъ чужой и — ноль. Знаешь, вѣдь, голова у меня на плечахъ всегда была. «Химикомъ» никогда не былъ и дряни въ деньги не превращалъ, а сумѣлъ я монопольно, понимаешь, — и на чужбинѣ, — на одну страну весь миндаль, апельсины и лимоны изъ Палестины поставлять! . . И засѣла тогда у меня, другъ Галкинъ, въ мозгу мышь и скребла, и скребла, а сердце по ночамъ въ тоскѣ исходить стало. . . И — понимаешь, не просто только жениться, — сказалъ я себѣ, не я, а чей-то голосъ, — а осчастливить, и не то, что обыкновенную добрую дѣвушку, а. . . вотъ, тебѣ слово мое. . . правду, обидную правду я тебѣ одному говорю. . . ты свой, не осу-

дишь меня, не высмѣешь... Осчастливить мнѣ захотѣлось дѣвушку первый сортъ!.. Первокачественную, именитую, голубую кровь!.. Да-съ!.. Крѣпко знаю я, Галкинъ, чего хотѣлъ я, а объяснить себѣ самому не могу... Словомъ, захотѣлось осчастливить такую первозванную, русскую барыню, — а лучше и краше русскихъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ, — чтобъ моя будущая жена настоящей голубой крови была, чтобъ она, понимаешь, еще въ Россіи была настоящей, а вотъ на чужбинѣ тутъ, значитъ, на мели, какъ всѣ мы, и несчастная, и худая, и голодная. И захотѣлось мнѣ до смерти найти такую, да осчастливить. Дать ей и богатства, и царской роскоши, и любви безмѣрной, и жалости безъ краю, — на, будь снова повелительницей, принцессой, торжествуй, повелѣвай, какъ тебѣ полагается по чину прирожденному, — повелѣвай вновь, счастье мое, и чтобы вновь заиграла, заблистала русская кровь!... Понялъ ты, Галкинъ?!.. Какъ порѣшилъ, — я и говорю себѣ: «Зачѣмъ тебѣ, какому-то Сѣрикову, милліоны, а ей, моей мечтѣ, моей суженой — ноль? Какъ можетъ она въ пьяномъ барѣ, въ шляпномъ магазинчикѣ, или моделью вертѣться, или въ ресторанчикѣ тонкими ручками да въ мерзлый боченокъ съ огурцами, да горе мыкать? Дай, Сѣриковъ, ей вновь извѣдать былого счастья, былой русской роскоши!.. И гонялъ-загонялъ, толкалъ-выталкивалъ меня дьяволъ, стоя за моей спиной. Давился, обѣдать спокойно

не могъ я, другъ Галкинъ. Вѣдь жилистый я, и не плакса, и толкъ въ дѣлахъ понимаю, а давился я обѣдомъ, видѣть не могъ, какъ эти худо да съ чужого плеча одѣтыя и такія блѣдныя природныя русскія аристократки мнѣ, Сѣрикову, хаму, тарелки подаютъ... Давился я обѣдомъ и убѣгалъ, но всюду онѣ, эти барыни, и совѣсть моя покою мнѣ не давала...

— И вотъ, Галкинъ, однажды я себѣ окончательно сказалъ: «У тебя, у сукинаго сына, Сѣрикова, капиталъ съ шестью нолями, и тебѣ, — ты что такая за птица важная? — тебѣ перворазрядныя аристократки тарелки подносятъ?!..» И забралась въ голову мою мысль, какъ червякъ гложетъ... И порѣшилъ я — женюсь на такой, только на такой!..

— Человѣкъ ты, Сѣриковъ, говорилъ я себѣ самому, скромный, нетребовательный, ничего тебѣ лично не надо... И омнибусомъ, и подземкой гоняешь — не изъ скупости, вѣдь, — и даже въ Карлсбадъ ни разу не съѣздилъ, а кто только туда не ѣздилъ, — цѣлебно и дешево... А я, вотъ, Галкинъ, никуда... Кому я нуженъ? Песъ я одинокій въ цѣломъ мірѣ. И пусть, — порѣшилъ я окончательно, — пусть моя будущая жена настоящей принцессой по всѣмъ Ривьерамъ ѣздитъ, а не захочетъ она меня и за рулемъ машины имѣть, пущай сама на нѣсколько мѣсяцевъ повсюду. Стѣснять не буду, — куда мнѣ? я языковъ не знаю, — лучше эти мѣсяцы, въ ея отсут-

ствіе, буду одинъ я дома. А дома, Галкинъ, думалъ мечталъ я, будетъ со мной ребенокъ, мой — нашъ ребенокъ! И будетъ въ каждомъ углу у насъ дома ярко ослѣпительно, и буду я на ребенка и на жену молиться, все отдамъ за ихъ жизнь, отдамъ, — ничего не жалко, ложись, да помирай, во! . . А она, жена моя, вернется съ Ривьеры или изъ Каира и будетъ сіять отъ счастья, что далъ ей Господь.

— Разрѣшите, Галкинъ, деликатно замѣтить. . . Какъ же онъ, Сѣриковъ вашъ, вдругъ съ двумя близнецами? . . .

Лидія Николаевна Дрөздова, какъ и гости, захваченные исповѣдью этого сѣраго человѣка, какого-то Сѣрикова, готовы были броситься на нарушителя общаго настроенія, на несноснаго Мухина. Хозяйка дома даже угрожающе руками на Мухина замахала. Но нельзя было на Мухина обижаться, всѣ знали, что человѣкъ онъ желчный, хотя желчный пузырь, по его же словамъ, давно у него удалили. Знали еще, что Мухинъ этотъ странно ведетъ себя: какъ, бывало, прочтетъ о кончинѣ или юбилеѣ какого-нибудь именитаго вождя, непремѣнно улыбнется онъ при этомъ. Онъ, молъ, Мухинъ, одинъ могъ бы много пикантнаго разсказать. Мухина не разъ оттѣсняли отъ свѣжихъ могилъ, надъ которыми, непрошенный, собирался онъ тоже «слезу пролить». Знали однако и то, что безъ Мухина вообще не обойтись: ни на похоронахъ, ни на юбилеѣ: ужъ

много лѣтъ специализировался этотъ скромный и незамѣтный человѣкъ на собраніи, составленіи и коллекціонированіи вырѣзокъ, біографій, фотографій, готовыхъ некрологовъ, мемуаровъ и самыхъ мельчайшихъ деталей изъ частной жизни не только скончавшихся именитыхъ людей, но еще живущихъ и, по мнѣнію Мухина, уже готовыхъ «кандидатовъ въ именитые покойники». Всѣмъ редакціямъ нуженъ былъ этотъ Мухинъ, этотъ выручатель, этотъ незамѣнимый энциклопедистъ и сотрудникъ для всякихъ торжественныхъ и печальныхъ случаевъ. И Мухина, въ сущности, добродушнѣйшаго человѣка, терпѣли, некоторые даже побаивались, — «рано или поздно самъ попадешь въ юбиляры или въ покойники». Мухину теперь стоило не мало усилій воздерживаться отъ нѣкоторыхъ щепетильныхъ вопросовъ импровизатору Галкину. Но достаточно было Мухину взглянуть на Лидію Николаевну, и нижняя, зашевелившаяся, было, челюсть его вновь примыкала къ верхней. . . Галкину же самому не до того было, чтобы удовлетворять язвительнаго Мухина.

— Я, тогда, напередъ зналъ, что безъ Пруста и Джойса ни одному разсказчику нынѣ не обойтись. . . — вставилъ уже другой гость, воспользовавшись паузой.

— Какой тамъ Джойсъ? Здѣсь прямо по нашему, «по Достоевскому», — замѣтилъ съ гор-

достью хозяинъ дома, Петръ Ивановичъ Дроздовъ.

— Это же, въ самомъ дѣлѣ, интереснѣйшій, можно сказать, психо-аналитическій случай... Поймите, господа, внутренніе голоса какіе-то, и такіе правдивые, — сочувственно и поощрительно посмотрѣла въ сторону Галкина Лидія Николаевна.

— Въ циркѣ Чинизелли, помню, былъ одинъ такой мужчина, чревовѣщатель, и мысли у него вслухъ, точно другой голосъ говоритъ.

— Опять вы, Мухинъ? Ну, какъ вамъ не стыдно, голубчикъ Никаноръ Ермолаичъ? Не мѣшайте же!.. А вы, Галкинъ, не вѣрьте. Посмотрите, какъ лица у всѣхъ разгорѣлись... Мы слушаемъ, продолжайте же, Галкинъ.

— Да... да... Такъ вотъ. Сѣриковъ, господа, продолжалъ все тихо богатѣть, и мысль о какой-то тамъ голубой крови изъ головы, казалось, вылетѣла навсегда. Была у человѣка блажь, это извинительно и Сѣрикову, — кому же хоть разъ въ жизни не мечталось получить статскаго совѣтника или, скажемъ, орденъ почетнаго легіона, — ученыя степени рѣдко кого соблазняютъ.

Однако, Сѣриковъ, богатѣя, нашелъ все же отдушину въ своей замкнутости. Онъ сталъ тихо жертвовать, дѣлать безъ шума добро, незамѣтно пригрѣвать гордую нищету, посылать по почтѣ денежную помощь, завѣряя, что «деньги эти честно заработанныя», — добра, побольше добра

захотѣлось Сѣрикову изъ своего угла дѣлать, безъ шума и подъ одними и тѣми же инициалами. Но добро, если дѣлаютъ его часто, само прокладываетъ себѣ путь, и стали Сѣрикова приглашать на балы, доклады, совѣщанія, похороны и юбилеи, и расширялся кругъ знакомыхъ, и сталъ Сѣриковъ вездѣ желаннымъ и не ради однихъ его семизначныхъ цыфръ, а за его, въ самомъ дѣлѣ, доброе сердце и тихую щедрость. Исчезали постепенно у Сѣрикова угловатость, необщительность, чувство отчужденности. Появлялись и у него иногда, какъ у другихъ слушателей, на докладахъ и диспутахъ, желанія тоже что-то сказать, не спорить, а именно сказать что-то очень важное. Но, къ великой досадѣ его, на приглашеніе предсѣдателя собранія, въ эту минуту рѣшимость оставляла Сѣрикова. Такъ ему и не удавалось хоть разъ высказаться. Очередью обычно пользовался другой, болѣе отважный диспутантъ, а Сѣриковъ и терзался, и радовался: «ну, что я имъ сказать могу, куда же мнѣ до нихъ», — успокаивалъ онъ себя. . .

За короткій срокъ Никита Демьянычъ Сѣриковъ сталъ, помимо воли, замѣтной фигурой въ Берлинѣ и Парижѣ, въ области общественной благотворительности. Однажды, на одномъ балу, въ Парижѣ, Сѣрикова обступили всѣ дамы-патронессы и, принимая отъ нихъ, поочередно, по бокалу шампанскаго, онъ сердечно благодарилъ «за честь и вниманіе» и со свойственной только рус-

скому человѣку широкой улыбкой клалъ передъ каждой дамой на подносъ по нѣсколько тысячефранковыхъ билетовъ, почтительно цѣлуя у каждой ручку...

— Я бы такого вашего Никиту первымъ дѣломъ, до бала, подъ опеку, а послѣ бала прямо въ сумасшедшій домъ или въ санаторій съ холодными душами...

— И скупой же вы человѣкъ, Мухинъ! Не обижайтесь, голубчикъ, — заступилась Лидія Николаевна.

— А куда все таки дѣлись два его побочныхъ сына? — не успокаивался Мухинъ.

— Ну, и безпокойный же вы человѣкъ! Не мѣшайте же разсказывать! — сердито сказала Лидія Николаевна.

— Все, Мухинъ, сейчасъ узнаете... Немножко терпѣнія и — пониманія!.. Да-съ... Такъ, вотъ, господа, — продолжалъ Галкинъ повѣсть о Сѣриковѣ, — на этомъ балу въ Парижѣ, среди этих семнадцати дамъ-распорядительницъ, оказалось нѣсколько чистокровныхъ русскихъ княгинь и княженъ, и выбралъ Сѣриковъ ту, которая была бѣднѣе всѣхъ одѣта. Сразу видно было, что бальное платье на ней перешито изъ какой-нибудь поношенной бархатной ротонды, а кружевныя вставки совсѣмъ не гармонировали съ общимъ покроемъ и съ бахромой. «Видъ этого бархатного бальнаго платья, — разсказывалъ мнѣ Сѣриковъ, — отравлялъ мнѣ весь вечеръ и напол-

нялъ мое сердце давящей жалостью. А лицо ея, понимаешь, такое прозрачное, блѣдно-розовое, — можно сказать, изъ царскаго фарфора. И, чортъ меня знаетъ, вновь стали мучить меня и состраданіе, и жалость, и презрѣніе къ самому себѣ. А, вѣдь, я никому ничего плохого не сдѣлалъ, ни у кого не бралъ, не отбиралъ... И вновь, какъ прежде, насѣли на меня, обволокли меня мысли дремучія: «зачѣмъ тебѣ, Сѣрикову, одному человѣку, милліоны, когда у нея, у этой природной, настоящей крови барыни, можетъ, одна сорочка изъ мадеполама? Такъ, понимаешь, Галкинъ, разобрало, замутило меня всего, что я тутъ же на балу и порѣшилъ... Да, не легко было мнѣ, быть можетъ, казанской крови, приблизиться къ ней, къ ея, быть можетъ, сіятельству или свѣтлости! А бальная музыка льется прямо мнѣ въ голову. И въ глаза мнѣ тысячи лампочекъ золотымъ пескомъ сыплютъ. Понимаешь, вѣрь мнѣ, — точно кто по затылку меня ударилъ, подтолкнулъ, и я съ мѣста, точно кѣмъ-то гонимый, протолкнулся къ ней, къ избранницѣ въ бархатномъ платьѣ, да ручку кренделемъ и — на танецъ!.. Не помню, что играли, что ноги мои выдѣлывали... Гдѣ же помнить, когда сердце мое перебоями пошло отъ ея стана гибкаго и душистаго... что горячая, высокая свѣча церковная... И сотни глазъ почему-то именно на насъ устремились, и всѣ такъ будто одобрительно и благожелательно улыбаются въ нашу сторону, а она вся пунцовая и темно-свѣ-

тящаяся, будто отъ чистаго жемчуга свѣтъ исходатъ... Ладно... Протанцовали мы что-то очень мелодичное, — танго называется, — и усадилъ я ее въ креслице, а сама она двумя нитками жемчуга такъ и улыбается мнѣ!.. Вмѣсто того, чтобы, какъ полагается въ высшемъ обществѣ, обмѣняться мнѣніями о политикѣ, о Россіи, о боксѣ, — я и ротъ разинудъ, такая была она свѣтло-розовая и чудесная!.. Тутъ же у меня съ языка и сорвалось: — «Небесная и наипрекраснѣйшая... скажите мнѣ безъ думки... я васъ сдѣлаю самой счастливой на свѣтѣ!.. Хотите быть моей женой... обожаемой женой Никиты Демьяныча Сѣрикова?«... Такъ и ляпнулъ. А сердце забилось... тукъ-тукъ-тукъ... и пошло все огненными кругами... А она, Галкинъ, — счастье-то какое... Она и говоритъ: «Хочу, господинъ Сѣриковъ... Но... знайте... я и всѣ мы далеко не такія, какъ были тамъ... дома!..»

— Да почему же, Галкинъ, пріятель вашъ зналъ, что она съ голубой кровью, что онъ съ настоящей княжной танцуетъ?..

— Ну, вотъ еще, — съ какой-то гордостью перебила Лидія Николаевна, — да нашу русскую княгиню или княжну за тысячу верстъ узнаешь, и притомъ ихъ у насъ, въ одномъ Парижѣ, не меньше 2700!..

— Вотъ и весь сказъ, друзья мои, — устало, точно отмахиваясь отъ дальнѣйшихъ воспомина-

ній, закончилъ Галкинъ, откинувшись на спинку дивана. . .

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. Какъ же такъ все? Нѣтъ, я чувствую, что самое интересное впереди. Галкинъ, извольте продолжать.

— Продолжайте, любезнѣйшій, обѣщаю и я не прерывать, — смирился Мухинъ.

Галкинъ снова плотнѣй глаза сомкнулъ, призадумался.

— Дальше-то что? Обычно. . Да, господа, я хорошо, очень хорошо зналъ Никиту Сѣрикова. . . Дѣтей, я уже говорилъ, у нихъ не было. И въ ихъ квартирѣ, въ 26 залахъ, сейчасъ же послѣ вѣнца, опустилась каменная, зябкая тишина. Сѣриковъ сталъ чувствовать себя плѣнникомъ, а самъ-то онъ занималъ всего одну комнату, большую, — вся въ свѣту, — которая служила ему и его личной спальней, и гардеробной, и кабинетомъ, — не охота была выходить въ пустоту, въ остальные, стылые, торжественно молчаливые покои. Между спальней жены и спальней мужа было шесть холодныхъ комнатъ, — маленькая гостиная, гардеробная, массажная, предванная, ванная, и жена всю ночь дышала свѣжимъ воздухомъ, поздно читала, долго курила, а три собаки, въ ея постели, не вылѣзали изъ-подъ пуховаго шелковаго одѣяла, оранжево-голубого цвѣта. . . Супруги жили мирно и ладно. Дни, и недѣли, и мѣсяцы, и обѣды, и невыразимыя, глубоко затаенныя обиды проходили тихо, безъ сценъ. . Не

было причинъ къ недоразумѣніямъ. Домъ — дворецъ — полная чаша, кладовая — калифорнійскій садъ, въ оранжереяхъ непереводившіеся цвѣты и рѣдкостныя орхидеи, погребъ тончайшихъ винъ, которыхъ никто не трогалъ, въ потайномъ мѣстѣ стабилизованная валюта, въ личномъ сейфѣ супруги — смарагды и сине-бѣлые бразильскіе камни, а во всемъ домѣ — тишина, степь Гоби или Шамо. Только часы одни жалобно и причудливо вызванивали время.

— Вы, Галкинъ, такъ детально знакомы съ этимъ золотымъ склепомъ? . .

— Да. . . Я и самъ удивляюсь этимъ деталямъ, которыя Сѣриковъ такъ сохранилъ въ своей памяти. . . Супруги, господа, встрѣчались только за обѣдомъ, минута въ минуту, ровно въ семь часовъ вечера. Обѣдали они вдвоемъ, другъ противъ друга, за длиннымъ,предлиннымъ столомъ, въ первомъ этажѣ, въ столовой со стариннымъ гобеленомъ во всю ширину десятиметровой стѣны, въ креслахъ съ высокими, ажурно-вырѣзанными спинками на полметра выше головы обѣдавшихъ. И недвижная стояла тишина, и неслышно принималъ отъ горничной блюда изъ кухоннаго лифта и подавалъ ихъ, мягко ступая по керманшахскому ковру, дородный, изъ бывшаго Гогенцоллернскаго дворца, въ черномъ фракѣ и въ черныхъ жгутовыхъ аксельбантахъ, старый, въ бакенбардахъ, мажордомъ. Появлялись въ зимнемъ сезонѣ и гости, сразу человѣкъ сто, имени-

тые и званные вмѣстѣ съ незванными и полугогодными, всѣ — знакомые княгини. И руки хозяйки дома перецѣловывались, и столы ломились отъ полныхъ икрой хрустальныхъ чашъ въ искристомъ льду, отъ длинной, розовой семги, и отъ янтарныхъ балыковъ, и отъ соленій разныхъ, и жареной птицы, и паштетовъ, а торты, бабки и мудреной конструкціи глясе вызывали восторги и повторные поцѣлуи. . . Сѣриковъ по его словамъ «путался подъ ногами», помогалъ, суетился, угощалъ, упрашивалъ, придвигалъ, а нѣкоторымъ сіятельнымъ дамамъ готовилъ онъ, втихомолку, въ гардеробной, сюрпризы, неожиданные для нихъ, обильные продовольственные кульки. Въ паузахъ Сѣриковъ изъ столовой исчезалъ, воздуха гдѣ-то на балконѣ набирался, «такъ сказать, въ одиночку душу отводилъ» и вновь появлялся, и часто почему-то именно у него, — «что же? видъ у меня такой?», — именно у него шепотомъ справлялись именитые гости: «гдѣ тутъ... простите. . . можно у васъ» . . . Всѣ эти гости ни разу не реваншировались, да и мудрено было реваншироваться. Такимъ образомъ, простыхъ, добрыхъ, порядочныхъ друзей-знакомыхъ у супруговъ не было, и въ обычное время продолжали супруги обѣдать одни, въ этомъ крематоріи, минута въ минуту, въ семь часовъ вечера, въ рѣзныхъ креслахъ съ высокими метровыми спинками.

Галкинъ сдѣлалъ долгую паузу, и слушатели

сочувственно и странно переглядывались. Нѣкоторые, быть можетъ, представляли себѣ эту торжественную столовую, этотъ «крематорій», въ которомъ сжигался духъ.

— Въ театръ, — продолжалъ Галкинъ, — супруги выѣзжали на какую-нибудь исключительную премьеру разъ въ три мѣсяца. Послѣ же обѣда Сѣриковъ цѣловалъ почтительно руку у жены, съ минуту выжидалъ, съ тоской и мольбой, слова или взгляда, потомъ откланивался и уходилъ къ себѣ наверхъ. Тамъ супруги расходились по своимъ опочивальнямъ, раздѣлявшимся, какъ я уже говорилъ, анфиладой холодныхъ комнатъ. И чтобы Сѣрикову, по экстренному дѣлу, попасть въ спальню жены, надо было ему въ тяжелой пижамѣ, въ теплыхъ туфляхъ, въ шелковомъ халатѣ и съ шерстянымъ шарфомъ на шеѣ, — супруга по ночамъ дышала свѣжимъ воздухомъ, — пройти эти ледяныя веранды, эти, какъ проклиналъ онъ ихъ, «волчьи ямы» и, добравшись, наконецъ, до завѣтной двери, деликатно постучать. . . Сколько времени можно зябнуть, постукивать? . . Постукивать въ незапертую дверь, въ темнотѣ, пронизанной насмѣшливою луной. . . Но ничего не слыхалъ Сѣриковъ въ темнотѣ, въ лихорадкѣ и огнѣ, изъ-за неумолчнаго лая «этихъ проклятыхъ» трехъ собакъ ея: неразлучны были эти собаки съ ней, съ женой его, подъ ея одѣяломъ. . . Робкое постукиванье Сѣрикова встрѣчало, наконецъ, откликъ у супруги, и на ея серебристый голосъ, —

7*

такой, господа, голосъ бываетъ только у обреченныхъ на безплодіе женщинъ, да, да, это мои собственныя наблюденія, — и на ея серебристый голосъ: «что вамъ, Никита Демьянычъ, въ этотъ поздній часъ надо?», послѣ такого вопросика экстренное дѣло моего Сѣрикова заканчивалось, увы, обычными, растерянными извиненіями.

— У меня, Маріанна Владиміровна... лорнетка твоя оказалась на моемъ столикѣ. . . Я кладу ее, вотъ, сюда. . . Я уже ушелъ. . . Извини. . .

— Недурно, недурно. . . Продолжайте, Никита Демьянычъ, въ томъ же духѣ дальше. . . И «твоя» лорнетка, и «Маріанна Владиміровна». . . прелестно! Хорошо еще, кто отучились при всѣхъ говорить: «моя жена». . . И все это на «ты», точно нарочно. . . Я васъ тяну вверхъ, а вы, какъ мѣшокъ, все внизъ. . .

— Но эти, въ темнотѣ, тихія, сверлящія мозгъ слова княжны, — продолжалъ свою повѣсть Галкинъ, — уже не настигали Сѣрикова, и онъ, озябшій, спѣшилъ уходить той же дорогой къ себѣ, одной рукой наматывая шарфъ у шеи, другой придерживая скользящія пижамныя панталоны...

— Кошмаръ, прямо кошмаръ, — откликнулось нѣсколько голосовъ.

— Но часто, друзья мои, за неимѣніемъ подъ рукой «лорнетки», Сѣриковъ просто, какъ говорилъ онъ, «испытывалъ судьбу», правда, не чаще одного раза въ два мѣсяца. . .

— Разъ въ два мѣсяца?! . . — не удержался

таки Мухинъ, но его неумѣстное замѣчаніе въ обществѣ дамъ не встрѣтило отклика, и Галкинъ продолжалъ:

— Не часто ходилъ туда Сѣриковъ... «И холодно и — боялся за себя... Гнѣвъ, обида стали душить меня и голову туманить... порой просто невмоготу становилось, и я тогда уже безъ всякой лорнетки, тихо и подолгу, постукивалъ... въ незапертую дверь, къ женѣ моей, къ женѣ съ голубой кровью»... Тутъ, помню, Сѣриковъ мнѣ жаловался, что одинокъ онъ и заступиться за него некому и что «по мужицки» не хочетъ онъ, не можетъ, «потому что противно», и что гордости у него нѣтъ, и что кровь у него простая, обыкновеннѣйшая, красная... Подолгу выжидалъ онъ въ темнотѣ: а вдругъ услышитъ ласковое слово? Но ничего услыхать не приходилось. Даже собаки проклятыя и тѣ, шельмы, присмирѣли, попривыкли, равнодушны къ его постукиванію стали. И удалялся онъ къ себѣ опять и опять, уходилъ въ свою одинокую спальню, въ свое низкое кресло, и въ его горячей головѣ разныя дикія мысли и желанія путались... искры высѣкали. Просиживалъ такъ Сѣриковъ долгія, томительныя ночи. «Хотѣлось мнѣ кричать, головой объ стѣнку биться, дышалось нестерпимо жарко, и — понимаешь, другъ мой Галкинъ, обида захлестывала мое сердце, и ходили передъ глазами сине-желто-зеленые круги... А женаты мы были уже семь мѣсяцевъ... И, вотъ, однажды, другъ Галкинъ,

ты, вѣдь, не осудишь, не высмѣешь меня, — обида, вотъ, у меня куда дошла! — однажды, въ такія окаянныя минуты, долго спавшая во мнѣ гордость точно рванула меня впередъ и направился я въ спальню «моей жены», — Сѣриковъ тогда, помню, особенно подчеркнулъ эти два слова, — уже безъ всякаго стука. .» Виноватъ, вы, Мухинъ, что-то очень неспокойны стали. . . хотите что-то возразить? . .

— Что вы, что вы, Иванъ Кузьмичъ. . . Напротивъ. . . Тутъ, дѣйствительно, «по Достоевскому»! . . Продолжайте, прошу васъ. . .

— «И вотъ, другъ мой, братъ мой, Галкинъ, — исповѣдывался мнѣ Сѣриковъ, — въ такомъ состояніи, окончательно изничтоженный, въ огнѣ, въ обидѣ смертельной, понимаешь, — растерялъ я тогда всѣ точки, — точно подталкивалъ меня кто, вошелъ это я въ спальню, не вошелъ, а ввалился. Зачѣмъ же полноправному и законнѣйшему мужу стучаться въ незапертую дверь? И. . . вотъ. . . безъ спросу. . . безъ разговоровъ. . . безъ всякихъ словъ. . . по мужицки! . . Пребольно тогда искусали меня три ея проклятыя собаки. . . надрывались отъ лая. Не стерпѣлъ я. . . вывалилъ ихъ всѣхъ трехъ, проклятыхъ дармоѣдовъ, прямо черезъ открытый балконъ. . . Что-то взвизгнуло и. . . стало тихо. . . ужасно стало тихо. И былъ я уже на ногахъ. . . А темнота кромѣшная. Не успѣлъ я еще и шагу сдѣлать, какъ получилъ чѣмъ-то металлическимъ страшный ударъ прямо въ ли-

цо, и еще, и еще разъ. Стало въ глазахъ совсѣмъ черно. Потомъ крикъ, и какъ будто выстрѣлъ, и визгъ. . . Толкомъ не разслышалъ я. . . Ничего не помню. . . Только слова жены «мужикъ проклятый» это разобралъ я на бѣгу. . . Не помню я, какъ вновь очутился въ своей спальнѣ, и припомнить не могу, отъ чего, отъ кого заперся... Но еще до всего, до удара, чтобъ отомстить, чтобъ оскорбить ее, задѣть ее, — крикнулъ я ей, «моей женѣ», во тьму. . . «Знай же, Маріанна, что помимо тебя отъ другой, любимой, у меня два сына. . . близнецы. . . вчера только осчастливила меня! . . . А ты и неинтересна, и безплодна»! . . Вотъ какъ, Галкинъ! Силъ моихъ больше не хватило терпѣть все это. . . всѣ униженія, обиды жгучія. . . Ужъ и не знаю, не помню, что тамъ еще накричалъ ей въ лицо! . . А тутъ. . . эти собаки. . . ихъ лай. . . мое бѣснованіе. . . и обида ей. . . И удары мнѣ въ лицо. . . вотъ видишь, сюда. . . шрамъ какой! . . И чтобы кровь не пролилась. .. убѣжалъ я. . . ничего больше не слышалъ. . . Вбѣжалъ я къ себѣ въ спальню. . . съ окровавленнымъ лицомъ. . . въ лихорадкѣ, въ горячкѣ. . . И не узналъ я себя въ зеркалѣ. . . Страшный. . . багрово-красный. . . взъерошенный. . . Противный! И съ красными искусанными губами. . . Это она. . . когда отбивалась. . . Подошелъ я вплотную къ зеркалу и со всего размаха ударилъ въ стекло. . . руку страшно окровянилъ, да такъ подъ одѣяло и залѣзъ, глубоко подъ одѣяло къ себѣ залѣзъ. . . чтобы не ви-

дѣть и не слышать ни себя, ни темноты. . ни позора и униженія моего! . . И не слышалъ я никакого выстрѣла тамъ! . . И память-то изъ головы вылетѣла. . . Забылся я до разсвѣта. . . Долго, должно быть, стучали, и увидѣлъ я передъ собой вдругъ чужихъ людей. . . Допросъ, допрашивать стали. . . Какъ мнѣ было объяснить комиссару? . . Затменіе разсудка. . . и жгучія обиды. . . и убійство собакъ. . . и кровь у меня на рожѣ. . . и выстрѣлъ?! . . Ничего не знаю. . . ничего толкомъ объяснить не могъ я комиссару. . . Отрезвило же меня сразу, что жены уже не было дома. . . въ госпиталѣ! . . Долгая, тяжелая операція. . . пуля легкія задѣла! . . Одиннадцать дней и одиннадцать ночей со смертью, за жизнь ея, всѣ мы боролись. . . И отстояли, вымолилъ я ее у Господа»!

Галкинъ безпредметно глядѣлъ въ пространство, переживая, видимо, съ Сѣриковымъ его былыя муки. . . Гости всѣ, даже и Мухинъ, сидѣли молча, не пытаясь перебивать Галкина.

— А вотъ чѣмъ, господа, все это кончилось, — точно облегченно вздохнувъ, съ нѣкоторой бодростью заговорилъ вновь Галкинъ. — Только на одиннадцатое утро, обреченная, — послѣ долгихъ страданій, просто чудомъ, вмѣстѣ съ раннимъ пепельнымъ разсвѣтомъ, вошло, очевидно, и дыханіе Его, точно Христосъ безплотно прошелся, — жена моя впервые глаза открыла. . . и ты только вдумайся, другъ Галкинъ, ея первыя

слова, еле еще внятныя, къ сестрѣ Елизабетъ были: «гдѣ мой мужъ, сестрица, попросите его ко мнѣ»... Понялъ ты?!.. Понимаешь ли ты, Галкинъ, что это обозначаетъ?!. А я тутъ, какъ тутъ, едва дышу, — вѣдь тамъ, не спавши, не раздѣваясь, одиннадцать сутокъ сторожилъ... не отходилъ... И услышавъ такія первыя слова ея, бросился, да что бросился, — подползъ я къ ней... страшно еще слабая она... подползъ я вотъ такъ... на колѣняхъ, и безсловесно припалъ къ ея тонкой-тонкой и блѣдной такой рукѣ... И сестра Елизабетъ тутъ же стоитъ, сама такая счастливая... И вотъ жена моя совсѣмъ отчетливо говоритъ мнѣ: «не плачь, говоритъ, все будетъ по хорошему... и не будешь имѣть отъ жены твоей тайны... и дѣтей твоихъ отъ другой женщины въ домъ къ себѣ возьмемъ... только безъ той, другой... ты ее обезпечишь»...

— А я что говорила, друзья мои! — захлопала въ ладони Лидія Николаевна. — Говорила же я вамъ, что русскую княжну за тысячу верстъ узнаешь!..

— Тутъ, другъ мой Галкинъ, — продолжалъ мнѣ свою повѣсть Сѣриковъ, — послѣ такихъ словъ жены, смутился я и говорю ей: «Родная, этихъ двухъ дѣтей еще нѣтъ... Но она, эта другая женщина, сказала мнѣ, что обязательно и безпремѣнно будутъ и что самъ профессоръ предупредилъ, что будутъ сразу двое, близнецы»... И слышу я голосъ моей жены: «Да кто же она, эта

другая?! .» Такъ, Галкинъ, и сказала она. . . «Говори, ничего не скрывай. . .». — А почему не сказать? Только, — говорю я женѣ моей, — не смѣйся надо мною, ужъ такой у меня характеръ... И проситъ она меня говорить только о дѣтяхъ, и всю правду, но чтобы я ни единымъ словомъ не упоминалъ про ту, другую, понимаешь, женщину, такъ сказать, «любовницу». . . А у меня, дурака, и любовницы-то никогда не было! . . И вотъ, — сестра Елизабетъ какъ разъ вышла, оставила насъ вдвоемъ — я и докладываю женѣ всю правду. . . Вотъ, Галкинъ, какъ все это съ «близнецами» произошло. . . Ходила ко мнѣ учительница, барышня одна, Рахиль Давыдовна. . . Торговля моя съ Яффой, когда наѣзжалъ я туда, требовала древняго языка, — я и сталъ брать уроки у прекрасной Рахили, чтобы тамъ на мѣстѣ, кое-какъ, балакать по ихнему. . . Дѣвушка она прямо чудесная, скромная, терпѣливая, добросовѣстная. . . сидитъ она, мучается со мной часа два, а беретъ только за часъ, хоть ты что! . . Благородная такая. . . Ладно! И ходила къ намъ въ домъ, въ Берлинѣ, Рахиль Давыдовна каждый день. . . И я въ самомъ дѣлѣ, за пять мѣсяцевъ сталъ уже балакать по древнему. . . Вотъ, однажды, Галкинъ, учительница вдругъ, за урокомъ, точно потемнѣла, лицо исказилось. . . видно, страдаетъ. . . боль, значитъ, какая... Намо мнѣ сказать тебѣ, давно замѣчать я сталъ, что учительница моя порывалась уже не разъ сказать мнѣ что-то важное, и опять

все: «нѣтъ, нѣтъ, Никита Демьянычъ, я потомъ... въ другой разъ»... Ладно! И вдругъ она мнѣ, — это было за 2 дня до катастрофы у меня съ женой: — «Простите, дорогой Никита Демьянычъ, я не смѣю... но я глубоко несчастна... и никого-никого изъ близкихъ нѣтъ... ради Бога, простите... дѣло чужое, очень деликатное... и я моимъ женскимъ сердцемъ чувствую, — вѣдь, и вы сами также несчастны... да... да... простите меня... И комнатъ у васъ 26... и ни разу не слышала я у васъ въ домѣ человѣческаго голоса... И вижу, чувствую я... страдаете и одиноки вы, какъ и я... Конечно, страданія мои иного порядка... И вы тутъ не при чемъ... Порѣшила я руки на себя наложить, клянусь вамъ, я вамъ одну правду говорю... Вы человѣкъ, Никита Демьянычъ, вполнѣ порядочный... И я рѣшила только одного васъ посвятить... Я дѣвушка порядочная... Но черезъ самое короткое время... быть можетъ, уже завтра или черезъ двѣ-три недѣли... профессора тоже ошибаются... Я сдѣлаюсь матерью, и по словамъ профессора, — ему что, — у меня сразу двое будутъ... Если бы вы знали, изъ какой благочестивой семьи мой женихъ!.. Но, дорогой, многоуважаемый Никита Демьянычъ, женихъ мой трусъ и дуракъ. Онъ все меня попрекалъ: «откуда возьму я прокормить тебя и сразу двоихъ детей»? На это отвѣчала я ему: — «Богъ для всѣхъ, увидишь, Богъ никого еще не оставилъ», — а онъ, глупый та-

кой, испугался и убѣжалъ... обѣщалъ вернуться... но его нѣтъ. . . А вы, Никита Демьянычъ... весь городъ васъ знаетъ, какъ великодушнаго и добродѣтельнаго, подумайте сами... всѣ будутъ въ восторгѣ: «вотъ благодѣтель Сѣриковъ принялъ къ себѣ въ домъ какихъ-то двухъ подкидышей... двухъ младенцевъ... Вамъ на пользу... не будете одни въ 26 комнатахъ... а я, дѣвушка, безъ позора жить буду... и издали дѣтей моихъ видѣть смогу... И ни одна душа не будетъ знать нашей тайны, святой и простой человѣческой тайны... Дорогой Никита Демьянычъ, я, вѣдь, порядочная дѣвушка, а съ кѣмъ такое... приключиться не можетъ? .. Вы увидите... — тутъ рыдать прямо стала учительница моя, — увидите, говоритъ, Господь пошлетъ вамъ въ домъ счастье, и свѣтъ, и много-много семейнаго ладу и радости...»

— А ты что же, Никита, сказалъ этой бѣдной учительницѣ?

— Я... что же? .. Сначала было такъ странно... а когда задумался я и молчалъ, она какъ встанетъ, да прямо къ балкону, выброситься хотѣла, — прямо же чудомъ... еще секунда... удержалъ... схватилъ я ее... а она мнѣ въ ноги... ноги обняла... и бьется, бѣдная, тихо такъ рыдаетъ... Я ее деликатно приподнялъ... усадилъ и говорю... А что же мнѣ было дѣлать? .. И говорю я учительницѣ моей: «Вы, что же, Рахиль Давыдовна, меня за камень считаете? И не стыд-

но вамъ, Рахиль Давыдовна, такого мнѣнія обо мнѣ быть? . . Богъ надъ всѣми. . . Хватитъ и для дѣтей вашихъ. . . Конечно, возьму»! . . А она, уже безъ словъ, руки цѣлуетъ, и въ уголъ дивана забилась. . . отъ счастья плачетъ. . . Вотъ, милый другъ Галкинъ, «мои «близнецы». . . отъ «другой» . . . И когда я все тихо такъ, чтобы не волновать больную. . . вновь найденную жену, все это сказалъ я ей, — она ангеломъ засмѣялась, вся просіяла и говоритъ: «конечно, дѣтей ея возьмемъ въ свой домъ. . . и будутъ у насъ потомъ. . . черезъ это. . . и наши собственныя». . . И остановилась. . . не могла дальше говорить. . . слабая очень и счастливая! . . И слезы, не повѣришь, другъ Галкинъ, вотъ такія крупныя, какъ этотъ мой жемчугъ на булавкѣ, что въ галстухѣ. . . такія слезы у нея. . . у жены моей! . . Такія тихія слезы! . . И только тогда почувствовалъ я, что рука ея вплотную давно погрузилась въ копну волосъ, въ голову мою, и крѣпко такъ держитъ. . .

И говоритъ она: «Я думала, что ты только богатый. . . а теперь я тебя, Никита, не промѣняю ни на кого въ цѣломъ мірѣ». Понялъ ты теперь, Галкинъ, другъ ты мой единственный? И не хочу я, чтобы всѣ понимали, и не хочу я много друзей, разъ ты одинъ все понялъ. . . Захотѣлъ ты понять и — понялъ.

А тутъ, какъ разъ въ эту минуту, — охъ, эти сестры, чуютъ онѣ, когда вновь, тихимъ ангеломъ, входить, — вошла она, сестра Елизабетъ,

остановилась и, точно благословляя насъ, говоритъ:

— Все будетъ еще по хорошему... Жизнь — что море...

ПОНОМАРЕНКОВЪ ПУТЬ.

Арону Вайсбергу надоѣло каждый день зарабатывать и откладывать. До инфляціи гульденъ имѣлъ еще въ рукѣ какой-то вѣсъ, а послѣ — пуха легче. . А на кухмистерской въ Данцигѣ что ужъ тутъ заработаешь? Вайсбергъ терпѣть не могъ слова «кухмистерская» и называлъ онъ свою столовую «рестораномъ». День кончался въ часъ ночи и начинался въ шесть утра. Самыя трудныя минуты наступали къ двумъ часамъ ночи, когда непослушныя, точно свинцомъ налитыя ноги, сѣро-восковое лицо съ сонными глазами и взъерошенная, отяжелѣвшая голова на тонкой шеѣ, какъ мутный кокосъ на гибкой вѣткѣ, вяло и механически какъ-то еще двигались, приканчивая уборку. . . Тѣло, давно изнемогая, настоятельно требовало отдыха. Немедленно, а то разсыплешься, пластомъ упадешь. . .

Двѣсти, въ среднемъ, обѣдающихъ за день, не

меньше пятисотъ разныхъ блюдъ. . Съ супами, бульонами и борщами Вайсбергъ не церемонился, справлялся быстро и безошибочно. .

— Мнѣ бы бульону, — и Вайсбергъ вынимаетъ изъ супа все его содержимое, пропускаетъ жидкость черезъ сито, прибавляетъ, смотря по важности гостя, одну-другую ложку шмальца, и бульонъ готовъ. Если иногда очень требовательный посѣтитель, «гастрономъ», допытывался, «почему бульонъ сегодня не то мутный, не то сѣрый и, во всякомъ случаѣ — не такой, какъ въ прошлое воскресенье, когда бульонъ былъ желто-оранжевый», — Аронъ Вайсбергъ не смущался: — Господинъ директоръ, чтобы вы спрашивали это, такъ я таки да удивляюсь. . Я часто говорилъ моей женѣ про васъ, господинъ директоръ, какой вы знатокъ въ кушаньѣ и какой вы вообще деликатный человѣкъ. . Бульонъ, знаете, это жидкость впечатлительная, а по воскресеньямъ, вы сами это знаете. . На второе, не прикажете ли, господинъ директоръ, котлеты де-воляй. . поджаристыя съ. . съ, — и Вайсбергъ приносилъ котлеты вообще. Названія котлетъ находились въ прямой зависимости и отъ ихъ формы, и отъ количества хлѣбной мякоти, примѣшиваемой Вайсбергомъ къ продукту изъ усталой мясорубки. .

Аронъ Вайсбергъ служилъ въ одномъ «G.m.b.H.», Обществѣ съ ограниченной отвѣтственностью, и на вывѣскѣ можно было прочитать:

«Русскій столъ изъ свѣжихъ продуктовъ, подъ наблюденіемъ главнаго повара изъ Санктъ-Петербурга»...

Кухмистерская въ первые годы послѣ войны охотно посѣщалась бѣженцами. Заглядывали туда частенько и иностранцы, когда-то отвѣдавшіе въ самой Россіи и душистыхъ жирныхъ щей съ грудинкой, и глазастой селянки со стерлядью, и жаромъ дышащей кулебяки съ осетринкой и вязигой и еще съ чѣмъ-то такимъ, русскимъ... пріятнымъ... «Широкая русская натура» крѣпко запомнилась иностранцамъ... Аронъ Вайсбергъ зналъ себѣ цѣну. Онъ не какой-нибудь себѣ эмигрантъ, у котораго даже большевики не нашли, что экспропріировать!... Нѣтъ, они таки много экспропріировали у Вайсберга, не меньше, чѣмъ на двадцать одну тысячу рублей, но онъ, Вайсбергъ, не любитъ безплодныхъ преувеличеній... Онъ въ свое время имѣлъ свой собственный консервный заводикъ на Молдаванкѣ, у самой Одессы, и понималъ толкъ въ соусахъ. Указательные пальцы служили Вайсбергу, чтобъ опредѣлять безошибочно и тонкость вкуса, и ароматъ, и плотность, и вязкость соусовъ и масла... Вайсбергъ сердито отталкивалъ руку своего управляющаго, когда тотъ предлагалъ ему чайную ложку для апробированія. Запустивъ указательный палецъ въ консервную банку, хозяинъ тотчасъ же облизывалъ его, смаковалъ, языкомъ пощелкивалъ, глаза прикрывалъ и минуту спустя изрекалъ:

«только идіоты пробуютъ съ ложки»... Управляющій не обижался на хозяина, абсолютно ничего не понимавшаго ни въ процессѣ производства, ни въ соусахъ, — управляющій только пугливо озирался, какъ бы кто-нибудь посторонній не былъ свидѣтелемъ этихъ своеобразныхъ хозяйскихъ пробъ... Да, все это было, было...

Аронъ Вайсбергъ самъ былъ недавно хозяиномъ.

Теперь Вайсбергъ очень гордился своими шефами, владѣльцами этой Данцигской кухмистерской. До поступленія кельнеромъ въ эту кухмистерскую Вайсбергъ, за рѣдкими исключеніями, аккуратно не доѣдалъ два раза въ день, и знавшіе объ этомъ земляки, при своихъ рѣдкихъ встрѣчахъ съ нимъ, только диву дивились: — Ты еще живъ, Аронъ? Воистину есть еще Богъ!.. И похлопавъ его по плечу, быстро уходили прочь, а кто почувствительнѣй, тотъ совалъ ему на ходу одинъ-два Данцигскихъ гульдена...

Вайсбергъ былъ человѣкъ не гордый и безъ малѣйшей злобы сочувственно выслушивалъ столовавшихся эмигрантовъ, гордыхъ тѣмъ, что у нихъ, по ихъ разсказамъ, большевики отняли у каждаго не меньше трехъ милліоновъ золотыхъ рублей...

— Что вы мнѣ все разсказываете о томъ, что у васъ было?... А что у васъ сегодня есть?.. — И Вайсбергъ уже не дослушивалъ, спѣшилъ къ Патценхоферу. Тамъ, въ двадцатомъ году, за

тридцать копѣекъ, — никакъ не могъ привыкнуть Вайсбергъ къ пфеннигамъ, — за тридцать пфенниговъ отпускали какое-то блюдо, нѣчто темно-коричневое и липкое, какъ недопеченный хлѣбъ, что безкровнымъ и обрюзгшимъ хозяиномъ называлось котлетою. . . Холодная, она тутъ же при васъ на какомъ-то жиру жарилась, фыркала и брызгала, точно сама себя оплевывала. . . Затѣмъ вы ее поѣдали, эту котлету. . .

Даже привыкшій къ разнымъ видамъ и названіямъ котлетъ Вайсбергъ какъ-то вскользь замѣтилъ: «если бы еще бѣлая была, да глаза закрыть, можно бы еще думать, что вату глотаешь» . . . Невесело, охъ, какъ невесело было тогда въ Германіи, въ Данцигѣ, кругомъ! . .

Вайсбергъ почтительно относился къ своимъ новымъ хозяинамъ: братья Идельсоны также кричали всюду, что у нихъ отняли «двадцать и одинъ милліонъ рублей въ настоящихъ золотыхъ слиткахъ», но Вайсбергъ уже не пугался, а только сочувственно качалъ головой. . Давно пересталъ онъ удивляться всяческимъ восьмизначнымъ цыфрамъ. Особенно импонировали Вайсбергу его хозяева, братья Идельсоны, тѣмъ, что самъ великій князь въ Петербургѣ заѣзжалъ къ нимъ чай пить! . . Великій князь, бывали такіе дни, и самъ за столъ не садился, пока Идельсоны къ обѣду не пріѣдутъ. . . Пару лѣтъ трубили всѣмъ и каждому о великомъ князѣ братья Идельсоны, пока они сами не повѣрили въ дѣйствительность этого без-

обиднаго вымысла и пока, повѣривъ, не потеряли чувства мѣры. . . Крѣпко жалѣли, по собственному признанію, братья Идельсоны объ одномъ: — никакъ, молъ, не могли они постичь придворнаго этикета. Если бы, по ихъ словамъ, не это сложное обстоятельство, кто знаетъ, не стала ли бы ихъ дочь великой княгиней! . .

— Что же, по вашему, двадцать одинъ милліонъ золотыхъ рублей приданаго мало для князя? Подумайте, Вайсбергъ, и дайте мнѣ отвѣтъ. Двадцать одинъ милліонъ золотыхъ рублей! . . Мало это? . .

Старшій Давидъ Идельсонъ подергивалъ плечами, растопыривалъ вопросительно пальцы и уставлялся широкими и негодующими глазами на покорнаго слушателя Вайсберга. Послѣдній блѣднѣлъ и сочувственно вздыхалъ о невозвратныхъ добрыхъ временахъ и неисповѣдимыхъ путяхъ Господнихъ. . .

— Надо тебѣ сказать, Вайсбергъ, — какъ-то незамѣтно Идельсонъ сразу переходилъ на ты, — моя жена, Ева Исааковна, а не жена моего брата, она одна въ обществѣ князя чувствовала себя, какъ рыба въ нашей Невѣ. И откуда у нея, я тебя, Вайсбергъ, спрашиваю, это тонкое великосвѣтское обхожденіе, это обращеніе съ князьями? Какъ скажетъ князю, бывало, Ева Исааковна: «здравствуйте вамъ, великій князь, что хорошенькаго?», такъ онъ сейчасъ къ ея ручкѣ. И пошло, и пошло. . . Ну, а я такъ считаю — лишній

я, и я себѣ уходилъ... Я человѣкъ простой, а они себѣ тамъ, какъ дѣти...

Долго еще такъ предавались очаровательнымъ сказкамъ Идельсоны и сочувственно вздыхавшій слушатель Вайсбергъ.

Братья Идельсоны были въ самомъ дѣлѣ петербуржцы, и Вайсбергъ питалъ къ нимъ особо нѣжныя чувства. И было за что: — «Скажите, пожалуйста, Борисъ Моисеевичъ, — удивлялся Вайсбергъ въ минуты особо чувствительной бесѣды съ братьями Идельсонъ, — какъ могло случиться, что вы такъ очень хорошо говорите по еврейски и... и... ой, я умираю, извините, а по русски... извините... такъ себѣ...»

И, боясь обидѣть своихъ шефовъ, осторожный Вайсбергъ не то въ руку покашливалъ, не то добродушно хихикалъ...

Однако, братья Идельсоны и не думали обижаться:

— Какой же ты глупый, Вайсбергъ! Скажите, пожалуйста, по русски говорить — тоже кушанье? А по моему, не говорить ни на какомъ, а милліены домой, да женѣ привози, да на столъ клади! — вотъ это и есть мой «русскій языкъ»!.. Глупый же ты, Арончикъ.

— Съ однимъ еврейскимъ языкомъ зарабатывать въ Петербургѣ милліоны!? Долго еще думалъ надъ этимъ Аронъ Вайсбергъ.

Вайсбергъ уже третій годъ служилъ въ кухмистерской братьевъ Идельсонъ, но постигъ онъ

лишь сегодня секретъ, какъ это Идельсоны милліоны зарабатывали. И голова Вайсберга какъ-то набокъ свернулась, а глаза его изумленно и наивно смотрѣли на шефовъ.

— Что бы ты это говорилъ, Вайсбергъ! Скажи, пожалуйста, вѣдь мы же не выписываемъ для нашей кухмистерской мадеры! Мы же не посылали тебя за этой мадерой въ Испанію! И мы тебя, каналья, вѣдь не спрашиваемъ, откуда и какъ вы съ Иваномъ Пономаренкой эту самую мадеру въ погребѣ дѣлаете. А? Гости пьютъ, довольны, — значитъ оба вы, пока васъ еще никто не поколотилъ, отличные спеціалисты по мадерѣ... И намъ же прибыль. Чтобы дѣлать испанскую мадеру, не нуженъ испанскій языкъ!..

Вайсбергъ давно уже боится слова «мадера». Вайсбергъ ужъ давно бы бросилъ изготовленіе самимъ имъ придуманной, вкусной, дешевой и горло сжигающей мадеры. Но постоянные гости кухмистерской и знатоки изъ Данцига, послѣ пламенно-горячихъ щей и шипящихъ, странно на тарелкѣ дышащихъ, спеціальныхъ котлетъ Вайсберга, настоятельно требуютъ хваленой мадеры...

Идельсоны имѣли отъ этой мадеры невредную прибыль, и Вайсбергъ не могъ проглотить такихъ обидныхъ замѣчаній и — отъ кого — отъ самихъ хозяевъ!

— Чтобы вы, господинъ Идельсонъ, намекивали на мою мадеру?..

Чувствовалось, что Вайсбергъ не только обидѣлся, но и обезпокоился. Онъ имѣлъ на то достаточныя причины. Кухмистерская братьевъ Идельсонъ въ Данцигѣ была первые девять мѣсяцевъ, сейчасъ же послѣ «социлигической» русской революцiи въ девятнадцатомъ году, строго еврейская, и хозяева и служащiе очень даже недурно около нея кормились. Надо же было Идельсонамъ прiютить, на службу принять свободомыслящаго Вайсберга. А Вайсбергъ человѣкъ съ настоящимъ еврейскимъ чувствительнымъ сердцемъ и, встрѣтивъ какъ-то на рынкѣ раннимъ, осеннимъ, мерзло-дождливымъ утромъ полубосого, безцѣльно бродящаго по лужамъ нѣкоего Пономаренку, далъ ему понести за собою двѣ полныхъ корзины, мѣшокъ картошки, двухъ гусей и шесть пѣтуховъ. Связанные пѣтухи и гуси оказались вокругъ шеи Пономаренки, мѣшокъ удобно улегся на широченной его спинѣ, а на выгнутыхъ рукахъ, державшихъ мѣшокъ, повисли корзины. Тощая бороденка на впалыхъ мокрыхъ щекахъ Вайсберга, его не совсѣмъ еще выспавшiеся, близорукiе, точно смѣющiеся глаза удивленно и поощряюще смотрѣли на мокраго полуодѣтаго Голiафа. Приведя его въ кухню, Вайсбергъ первымъ дѣломъ накормилъ Пономаренку, а потомъ ужъ не отпускалъ его, посадивъ его за картошку, за общипыванiе птицы и за всякаго рода иныя, связанныя съ уборкой занятiя. Вайсбергъ серьезно страдалъ отъ Идельсоновъ, любившихъ вставлять имъ са-

мимъ мало понятныя, но такъ часто слышанныя въ кухмистерской Данцига, длинныя слова. Сколько разъ твердилъ Вайсбергъ своимъ шефамъ, и даже повторять ихъ заставлялъ: — соціалистическая, а не социлигическая революція. И не добившись отъ Идельсоновъ толку, Вайсбергъ, нервничалъ, терялъ терпѣніе, даже оралъ: «Да пошлите же ее, эту голодную соціалистическую революцію, къ чертямъ, только не произносите «сицилигическую»... Не срамите же себя и нашу кухмистерскую!..

Вотъ теперь еще этого не доставало — его, Вайсберга укорять за мадеру! Вѣдь никто же не жалуется на мадеру Вайсберга! Она, видите ли, не изъ Испаніи. Данцигъ тоже не въ Испаніи. Но объ этомъ нельзя кричать! По вашему это пустяки мадеру дѣлать? Попробуйте-ка сами, такъ вамъ и зубной врачъ не поможетъ... Попади только разъ на знатока... Вайсбергъ, считавшій себя когда-то хозяиномъ и знатокомъ консервовъ, полагалъ, что всякую смѣсь, если отъ нея не мутитъ, если она на вкусъ пріятна и отъ нея не умираютъ, всякую такую смѣсь смѣло можно подать въ Данцигѣ даже знатокамъ тонкихъ винъ. Важно, к а к ъ подать, подъ какимъ этикетомъ и что при этомъ гостю сказать надо. Пономаренко — этотъ сразу отличитъ, гдѣ спиртъ, гдѣ водка, гдѣ бензинъ, а эти, извините за выраженіе, новые нахлынувшіе буржуи Данцига, эти...

Идельсоны, хоть и очень дорожили Вайсбер-

гомъ, но все же старались не часто бывать во время отпуска обѣдовъ и ужиновъ. . Всѣмъ управлялъ и за все отвѣчалъ Вайсбергъ. Вайсбергъ былъ и оберомъ, и бухгалтеромъ, и поваромъ, и покупщикомъ провизiи. Вайсбергъ только слабо разбирался въ водкахъ, зато въ портвейнахъ и мадерахъ! . .

Довольно долго еврейская кухмистерская братьевъ Идельсоновъ въ Данцигѣ, можно сказать, процвѣтала. Вайсбергъ завелъ, точно въ модной парикмахерской, свои порядки: каждый гость получалъ не бумажную, а настоящую салфетку и кольцо съ опредѣленнымъ номеромъ. Если салфетки и вкладывались въ разныя кольца. зато номера соблюдались строжайше, чтобы постоянный гость чего не подумалъ. Вайсбергъ въ послѣднiе мѣсяцы сталъ съ грустью замѣчать, что очень часто, въ самое горячее время обѣдовъ, онъ теряетъ идеи и разговорныя темы. Онъ очень этимъ мучился: нельзя же одного и того же гостя ежедневно угощать все тѣмъ же вопросомъ — «какъ, молъ, поживаете»? или «что биржа»?. . . чтобъ ее вовсе не было, а?», или, какъ онъ это частенько дѣлалъ, дружески и секретно наклониться къ уху какого-нибудь почетнаго гостя и обнадеживающе и многозначительно уронить: «Что вы такъ, Давидъ Соломоновичъ, грустно призадумались? Повѣрьте мнѣ, не пройдетъ и году, какъ снова будемъ въ Рассеѣ, дома! А, что скажете?». . .

Сегодня Вайсбергъ окончательно растерялъ всѣ идеи. Нашелся нахалъ и выскочка, который безцеремонно подозвалъ къ себѣ въ этотъ пасхальный день совсѣмъ замотавшагося Вайсберга и отпустилъ ему: «Не предлагайте мнѣ, пожалуйста, больше вашей мадеры. Поняли?» Чего тутъ не понять? Понялъ. Давно понялъ. Вайсбергъ первый давно это понялъ. Раньше, бывало, Вайсбергъ бодрымъ голосомъ крикнетъ въ слуховое окошко: «стаканчикъ стараго портвейну», «еще семь стаканчиковъ», «одиннадцать мадеры»! Теперь давно уже сталъ онъ примѣчать останавливавшіеся на немъ странные взоры любителей мадеры и портвейна. . .

Когда не на шутку озабоченные Идельсоны при подсчитываніи дневной выручки устанавливали неоспоримый и печальный фактъ слабаго спроса на портвейнъ и, главное, на собственнаго разлива мадеру, Вайсбергъ объяснялъ эти неудачи испорченными и развращенными за время инфляціи вкусами разныхъ «шиберовъ и мальчишекъ съ черной биржи». . .

Одни обѣды съ трудомъ оправдывали себя, и Вайсбергъ какъ-то сразу потерялъ центръ тяжести, бодрость духа и восторгъ творчества: самъ совершенно непьющій, некурящій. Вайсбергъ еще по старымъ временамъ помнилъ, что хорошо поставленный ресторанъ требуетъ и тонкихъ винъ, причемъ изъ многочисленныхъ названій разныхъ иностранныхъ винъ запомнились ему два обяза-

тельныхъ — портвейнъ и мадера. Обычная служба, чисто механическая работа, безъ инициативы, безъ проявленія мысли и духа, не удовлетворили бы Вайсберга, привыкшаго и на своемъ собственномъ консервномъ заводѣ творить, смѣшивать, взбалтывать. Попавъ послѣ длительнаго голоднаго періода на службу въ Данцигскую кухмистерскую, Вайсбергъ, изъ понятнаго чувства благодарности къ Идельсонамъ, старался эту запущенную Данцигскую кухмистерскую оживить, проявить инициативу, а главное — поставить дѣло на европейскую ногу... У Вайсберга была прекрасная память, и онъ и по сей день не могъ забыть, какъ ему, бывало, въ ресторанѣ Кемпинскаго оберъ просто покою не давалъ. Это было давно, еще до войны, въ десятыхъ годахъ сего столѣтія, когда Аронъ Вайсбергъ первый разъ за всю свою жизнь побывалъ впервые цѣлую недѣлю въ Берлинѣ и — шутка ли — въ ресторанѣ самого Кемпинскаго, гдѣ за одну марку и 35 пфенниговъ вы тогда получали четыре блюда... Четыре блюда, — ой, что это было за время! — Вайсбергъ не одному ужъ про это золотое и дешевое время разсказывалъ.

Ну, хорошо! Тогда Вайсбергу, у Кемпинскаго, оберъ эдакъ деликатно все мѣшалъ взяться за ложку... — «Что ему, этому оберу, нужно и какое ему, оберу, дѣло до Вайсберга?» — думалъ про себя Аронъ Вайсбергъ. — «Не угодно ли, разскажите этому деликатному оберу, какъ поживаетъ

хэръ Вайсбергъ, и пріѣхала ли ди гнэдиге фрау директоръ Вайсбергъ также въ Берлинъ и не хочетъ ли хэръ директоръ Вайсбергъ заказать себѣ что-нибудь у извѣстнаго портного?» . . .

— Ну, хорошо, господинъ оберъ, все это Вайсбергъ послѣ вамъ разскажетъ, но — дайте ему, Вейсбергу, сначала спокойно покушать. . .

— «Откровенно говоря, — уступалъ мысленно Вайсбергъ, — сердиться на этого обера нельзя, онъ себѣ деликатный человѣкъ и. . . ой, какъ рада была бы моя жена Берточка, если бы она сама слышала отъ обера во фракѣ и крахмаленной сорочкѣ, что она, моя Берточка, фрау генеральдиректоръ. . . Что говорить, — соглашался уже послѣ обѣда Вайсбергъ, — прекрасная постановка дѣла у Кемпинскаго. Не то, что тебѣ въ Кишеневѣ. Тамъ поставятъ тебѣ обѣдъ, — лопай, ѣшь, только не подавись. . .

Нѣтъ, въ Европѣ, у Кемпинскаго въ ресторанѣ, оберъ говоритъ вамъ сначала «добрый день... какъ ваше здоровье... хорошая погода, не правда ли». . . а затѣмъ только оберъ оставляетъ васъ въ покоѣ и, значитъ, разрѣшаетъ вамъ спокойненько покушать. . . Прекрасная, что и говорить, постановка въ Европѣ. . . Вайсбергъ до войны побывалъ въ Берлинѣ не только у Кемпинскаго, но и въ еврейскомъ ресторанѣ Городецкаго, и самъ тогда могъ убѣдиться, что вообще не принято въ Европѣ ставить просто обѣдъ передъ гостемъ, — на, молъ, кушай, только не подавись. Этотъ-то имен-

но европейскій порядокъ и надо завести въ кухмистерской Данцига, и онъ, Вайсбергъ, завелъ у Идельсоновъ тотъ же обычай, что въ посѣщенныхъ имъ когда-то лучшихъ европейскихъ ресторанахъ. Онъ, Вайсбергъ, самъ деликатно справляется у каждаго обѣдающаго: «какъ ваше здоровье, господинъ докторъ»?, «какъ поживаете, фрау генераль-директоръ»? Или вдругъ скажетъ: «желаю всяческой удачи въ казино!».

Идельсоны имѣли полное основаніе быть довольными и поощрять усердіе Вайсберга. Но какъ-то незамѣтно для Вайсберга его усердіе перестало цѣниться какими-то новыми посѣтителями. То имъ котлеты лукомъ пахнутъ, то мясо кажется имъ и не свѣжимъ, а — о, Господи, — не кошернымъ! . . То мадера, — эта самая мадера, — ему, этому шиберу, кажется не мадерой, а чортъ его знаетъ чѣмъ! . . Досадно, что и говорить. Только въ паузахъ между обѣдами и ужинами, а особенно передъ закрытіемъ кухмистерской, поздней ночью, отводилъ Вайсбергъ душу со своимъ новымъ другомъ Пономаренкой.

Иванъ Понмаренко былъ, вѣроятно, съ дѣтства лишенъ жира и мяса. Грудь — дубовая, полуметровая доска. Руки — кувалды, что два приделанныхъ полѣна, и, странно, безъ малѣйшей растительности. Вайсбергъ, худой, костлявый и подвижной, часто закидывалъ свою, точно съ боковъ приплюснутую голову и прищуренными близорукими глазками, самъ на три головы ни-

же, умиленно глядѣлъ вверхъ на своего случайно найденнаго силача, тщетно тыкая пальцами въ точно изъ стали отлитые мускулы Пономаренки. Иной разъ, чтобы доставить удовольствіе своему покровителю Вайсбергу, Пономаренко одной рукой, за что попало, приподымалъ его, осторожно усаживалъ своего благодѣтеля на кухонный дубовый столъ, и всю эту живую поклажу снова подымалъ одной протянутой рукой и тихо, какъ перышко, опускалъ на полъ. Вайсбергъ былъ въ восторгѣ отъ своего друга и часто дѣлился съ нимъ своими безпокойными мыслями.

Надвигались иные дни. Столики въ кухмистерской порѣдѣли, завсегдатаи часто мѣнялись или совсѣмъ куда-то исчезали. Появился какой-то новый элементъ, правда не часто, но зато шумной толпой. Эти люди, за обѣдомъ, волнуясь, лихорадочно подсчитывали и обмѣнивали между собой странные денежные знаки, разныхъ цвѣтовъ и наименованій. . . Вайсбергъ глубокомысленно рѣшилъ, что это валютчики, тѣ самые, о которыхъ неоднократно справлялись какіе-то странные штатскіе люди. . . Въ первые послѣвоенные дни такъ называемый польскій корридоръ больше служилъ прогулкой для валютчиковъ, чѣмъ стратегической зоной, а самый Данцигъ и промежуточные города Варшава — Данцигъ — Берлинъ больше играли роль сомнительныхъ мѣняльныхъ лавокъ. . . За столики садился этотъ летучій элементъ или вообще мелкая рыбешка.

Однимъ требовались хорошая закуска и настоящее вино, другіе разсудительно и аккуратно складывали остатки отъ жаркого въ бумажную салфеточку... Кухмистерская Идельсоновъ настоящими напитками для требовательной публики изъ валютчиковъ не располагала, а мелкая и мадеры Вайсберга не могла себѣ позволить. Дѣла кухмистерской пошли на убыль, и Идельсоны давно уже потихоньку рѣшили ликвидироваться... Надоѣло и Вайсбергу откладывать гроши. Публика не настоящая, какіе ужъ тутъ чаевые! Если Вайсбергъ еще продолжалъ механически суетиться въ столовой, то только ради Идельсоновъ, которые, въ особенности за послѣдніе мѣсяцы, не только держались съ нимъ пріятельски, но даже, — подумайте только! — усаживали какого-то Вайсберга рядомъ съ собою вотъ уже нѣсколько разъ обѣдать! Вайсбергъ цѣнилъ превыше всего человѣческое отношеніе и доброе еврейское сердце Идельсоновъ.

— Вайсбергъ, намъ нужно съ тобой поговорить по душамъ. Намъ предложили очень выгодное дѣло въ Парижѣ. Понимаешь, не какая нибудь столовка, а въ твоемъ вкусѣ, настоящій ресторанъ.... Европейскій, интернаціональный!..

— Я васъ очень прошу, господинъ Идельсонъ, если хотите имѣть себѣ кусочекъ честнаго хлѣба, такъ вы себѣ плюньте на интернаціоналъ. И не раздражайте меня... Гдѣ интернаціоналъ

— тамъ крѣпко держитесь за карманы... Что? Вы уже забыли!?

— А ты, Вайсбергъ, твоя политика тебя до добра не доведетъ. Брось, мы съ тобой о дѣлѣ говоримъ, понимаешь. Не до политики теперь. Такъ вотъ, ты останешься нашимъ другомъ и привезешь намъ въ Парижъ нашихъ женъ. Поможешь все упаковать... А спросятъ, куда молъ уѣхали хозяева, скажи — въ Палестину. Помолиться у Стѣны Плача, да новый транспортъ палестинскихъ винъ къ Пасхѣ привезутъ... Въ Парижъ шарлатаны ѣздютъ, а мы, Идельсоны, въ Палестину. Понялъ!? Впрочемъ, говори, что хочешь... Такой, понимаешь, ресторанъ откроемъ! Есть таки Богъ Израиля, Вайсбергъ, и Парижъ таки не хуже Данцига.

Вайсбергъ имѣлъ не мало заботъ, но больше всего огорчала Вайсберга какая-то его собственная разсѣянность и, — трудно было самому Вайсбергу подобрать подходящее слово, — ему давно уже просто было не по себѣ. Если бы кто нибудь подсказалъ Вайсбергу слово «безпричинная тоска», онъ бы не принялъ его: тоска это только слово такое, а у Вайсберга что-то внутри ноетъ, что-то непонятное смутно сосетъ, что-то не удовлетворяетъ. Что же это, не понимаете вы, что значитъ — душа ноетъ, а вы вдругъ суете какія-то слова Вайсбергу?

Нѣсколько лѣтъ подъ рядъ наблюдалъ Вайсбергъ жизнь только сквозь запыленныя окна

кухмистерской. Какъ живутъ, какъ суетятся прохожіе, а онъ, Вайсбергъ, точно ни къ чему. Мечталъ онъ иногда и о Палестинѣ, а тутъ самъ Богъ посылаетъ его въ Парижъ!

— Хорошо, пусть себѣ въ Парижъ. . .

Однако, Вайсбергу часто приходили въ голову неясныя, путаныя мысли. Что значитъ это хозяйское наставленіе: «говори, Вайсбергъ, что хочешь»? . . Это Вайсберга озадачило и просто ему не понравилось. Что значитъ: — говори всѣмъ, что хочешь? Мало ли чего Вайсбергу захочется сказать! Вайсберга давно уже господа обѣдающіе спрашиваютъ, сколько заплатили Идельсоны за недавно пріобрѣтенный шлессъ на Рейнѣ и почему мадамъ Идельсонъ держитъ свои капиталы иювеленъ въ лондонскомъ сейфѣ? . . На всѣ эти вопросы Вайсбергъ никому не отвѣчалъ. Какое кому дѣло?.. Но — шлессъ — это же замокъ, если перевести съ нѣмецкаго, и чтобы его друзья Идельсоны купили себѣ замокъ безъ его, Вайсберга, вѣдома!? . . Фе! — это таки Вайсбергу совсѣмъ не нравится. Что за шлессъ? Гдѣ этотъ шлессъ и гдѣ эти ювеленъ, я васъ спрашиваю! Вайсбергъ нарочно мучилъ самого себя такими вопросами. Конечно, почему хорошимъ людямъ и не купить себѣ шлессъ или кино какое? Но не сказать, не посовѣтоваться съ нимъ, съ Вайсбергомъ, развѣ это не обидно, я васъ спрашиваю. Обидно или нѣтъ? . . Вайсбергъ никому еще не завидовалъ, а за своихъ хозяевъ онъ не

только радъ, онъ даже ими гордится! Шлессъ такъ шлессъ, а не какіе-нибудь тамъ «Голь Шмоль и К-о». Все это очень хорошо, но, — продолжалъ терзать себя Вайсбергъ, — что значитъ: «говори, Вайсбергъ, всѣмъ, что хочешь». Нѣтъ, Вайсбергъ съ этимъ не согласенъ...

— Если у тебя ужъ и шлессъ, и ювеленъ въ Лондонѣ, — разсуждалъ Вайсбергъ, — то зачѣмъ тебѣ Парижъ и Богъ Израиля? Нѣтъ, надо будетъ завтра же снова обсудить вопросъ о Парижѣ и... и... деликатно попросить свои сбереженія отъ Идельсоновъ!.. Они себѣ шлессъ, а я тоже... Почему мнѣ и не войти пайщикомъ въ новый ресторанъ въ Парижѣ?..

Вайсбергъ понималъ: дружба дружбой, а дѣла своего никто никому не подаритъ. Потому такъ робко и рисовалась ему эта мысль — ну, какой же онъ, Вайсбергъ, ровня и компаньонъ Идельсонамъ? Впрочемъ, зачѣмъ Вайсбергу Парижъ? Что будетъ онъ, Вайсбергъ, дѣлать въ такомъ городѣ, гдѣ живетъ самъ Ротшильдъ? Нѣтъ, Вайсбергъ деликатно попроситъ всѣ свои пятилѣтнія сбереженія назадъ отъ Идельсоновъ, всѣ свои четыре тысячи сто пятьдесятъ пять марокъ, и откроетъ себѣ маленькое кино: самъ себѣ хозяинъ. А для силача Пономаренки онъ даже особый номеръ придумаетъ, — «съ Пономаренкой я, Вайсбергъ, никогда не разстанусь!» Такъ разсуждалъ спеціалистъ по консервамъ и мадерамъ, но иначе разсуждали братья Идельсоны. Время шло тихо

и мирно. Всѣ въ Данцигѣ успокоились на удачной покупкѣ Идельсонами «на самомъ Рейнѣ шлесса!.. Но однажды, раннимъ утромъ, всѣ въ Данцигѣ заволновались: пустыя квартиры Идельсоновъ оказались брошенными на произволъ судьбы, и двери всѣ настежъ. . .

Когда эта вѣсть дошла до Вайсберга, ему хотѣлось о чемъ-то кричать, куда-то броситься. Ему, однако, удалось только схватиться за голову и остаться въ такомъ застывшемъ положенiи. Онъ хотѣлъ еще что-то сдѣлать, но не могъ. Въ эту самую минуту въ груди что-то глубоко кольнуло, и Вайсбергу трудно было думать, соображать. Онъ просто застылъ, — вотъ хоть бы пару шаговъ сдѣлать, нѣтъ, не можетъ: какъ стоялъ у двери, такъ и скользнулъ тихо на полъ, опустился безъ крика. . . Голова на бокъ, а худыя руки приняли какое-то нелѣпое положенiе.

Великое горе, горе особое, люди только мысленно могутъ себѣ представить, обыкновеннаго же, повседневнаго горя такъ много, что къ нему поневолѣ привыкаешь, а иногда и за горе не считаешь, ибо боль притупляется.

Когда черезъ нѣсколько дней Вайсбергъ пришелъ въ себя и вмѣстѣ съ не разстававшимся съ нимъ Пономаренкой пришелъ по повѣсткѣ въ полицiю на допросъ, онъ тамъ сразу понялъ: — совсѣмъ не надо правильно говорить по русски, вообще ни на какомъ языкѣ не надо говорить, чтобы забрать, задолжать свыше двухсотъ тысячъ!

Двѣсти тысячъ долгу! .. Въ полиціи же Вайсбергъ узналъ, что и шлессъ и ювеленъ были выдуманы и пущены Идельсонами въ оборотъ, чтобы добиться расширенія кредитовъ.

Вайсбергъ по юношески хохоталъ отъ хорошихъ анекдотовъ. Но развѣ шлессъ, ювеленъ и двѣсти тысячъ долговъ, — развѣ это анекдотъ? Вайсбергъ и тутъ былъ въ обидѣ на Идельсоновъ... Не за деньги... Нѣтъ. Богъ далъ, а Идельсонъ взялъ. Нѣтъ, не за это. Но зачѣмъ Идельсонамъ надо было скрыть отъ него, отъ Вайсберга, бѣгство? Развѣ это не обидно?

— Эхъ, мнѣ бы съ Пономаренкой двѣсти тысячъ! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Давно уже Вайсбергъ не хохоталъ такъ, отъ души хватаясь то за животъ, то за спину у самыхъ лопатокъ, гдѣ случайно что-то кольнуло... Пономаренко не былъ словоохотливъ, онъ молча сострадалъ своему спасителю и кормильцу. Кулачищи его, что гири пудовыя, сжимались, а коротко посаженная на плечахъ голова отворачивалась прочь отъ внезапно оборвавшаго смѣхъ свой Вайсберга...

— А, знаешь, Вайсбергъ, препротивный я тебѣ камрадъ. Страдаю это я за тебя во какъ, а морда моя ничего наружу показать не можетъ. Вотъ дьяволъ! .. Дай поцалую!

Не успѣлъ Вайсбергъ опомниться, какъ все его маленькое, сморщенное, лимоннаго цвѣта лицо перешло въ выгнутыя ладони Пономаренки. Дол-

го полой пиджака обтирался Вайсбергъ, отбрыкиваясь отъ не отстававшаго друга.

Вайсбергъ по природѣ своей не могъ долго углубляться въ свершившіеся факты. Когда эти факты касались его лично и были печальнаго свойства, Вайсбергъ только ниже опускалъ голову и твердилъ про себя: — «Такова воля Его... Подчиниться надо. Многимъ живется еще хуже... А чѣмъ я лучше другихъ»?... «Въ эмиграціи большіе люди страдаютъ не чета какому-то Вайсбергу!».

Такъ разсуждалъ очутившійся на улицѣ Аронъ Вайсбергъ, такими мыслями усмирялъ онъ свое жаждавшее отдыха, обѣда, сна, болѣзненное, изношенное въ тяжеломъ трудѣ тѣло.

— А ты, тружище, Ваня, знай. Никуда я не отпущу тебя, и съ голоду никто еще не умеръ. Надъ всѣми Богъ.

Но Пономаренко гордъ, Пономаренко не хочетъ быть на иждивеніи Вайсберга.

— Ты, Аронъ, не робѣй. Пощупай, братъ, вотъ тутечко... Что, силищи-то еще много? То-то, не ущипнешь, хо-хо-хо!.. На ихнемъ языкѣ балакаешь, свези меня въ тутошній циркъ. Гири выжимать буду, такъ весь твой Данцигъ ахнетъ... А что до твоихъ хозяйчиковъ, не робѣй, — заработаемъ, и мы туда за ними, во!

И ручищи-кувалды издавали, казалось, хрустъ...

Шли недѣли. Пономаренко на удивленіе всему Данцигу выжималъ какіе-то сверхчеловѣческіе пуды и пользовался въ Данцигѣ шумнымъ успѣхомъ, а Вайсбергъ терпѣливо и съ любовью поджидалъ его въ уборной, купалъ его, поправлялъ, причесывалъ, пудрилъ. Обтирая, подскакивалъ или становился на стулъ, чтобы достать голову силача.. .

— Такъ-то, братъ, — кряхтѣлъ иногда Пономаренко, выпрямляя спину. — Развѣ достойная это для меня работа, Аронъ? Не знаешь ты еще, что я есть за человѣкъ. И несу я ее, работу эту, какъ быкъ ярмо.

Мутнымъ и гнѣвнымъ взоромъ глядѣлъ Голіафъ на стоявшее передъ нимъ въ уборной разбитое, потресканное зеркало, и невеселыя мысли овладѣвали имъ.

— Къ чорту! .. Посмотримъ ужо, посмотримъ! .. А ты, Аронъ, родной ты мнѣ сталъ, потому и у тебя ни двора, ни покрышки. . . Противенъ я тебѣ, и цаловать больше не буду, но родной ты мнѣ человѣкъ. Сядь вотъ сюда. . . да не туда, говорятъ тебѣ, на колѣнко ко мнѣ сядь-то... Исповѣдаться потребность есть, чтобъ зналъ ты, что я есть за человѣкъ. . . Убивецъ я, вотъ,что! . .

Не успѣлъ Пономаренко начать свою исповѣдь, какъ Вайсбергъ въ ужасѣ спрыгнулъ съ колѣнъ Голіафа да къ двери, а дверь-то уборной на запорѣ. Вайсбергъ, съ умоляющими, протянутыми впередъ руками, весь дрожа, такъ на мѣ-

стѣ и оцѣпенѣлъ. Гдѣ же такому худому, малорослому и старому человѣку справиться съ убійцей, — убійцы еще не хватало ему, Вайсбергу! А Пономаренко этакъ добродушно, вбокъ. какъ бы щадя и немножко презрительно, поглядѣлъ на оробѣвшаго пріятеля, сплюнулъ и сказалъ:

— Чучело ты этакое, развѣ настоящіе убивцы такіе бываютъ? Подь сюда, правду мою и думки мои тебѣ выложу. Тебѣ одному открыться хотится. Понимаешь, какъ на духу, все скажу... Знаешь, кто нашу револющыю устроилъ? Угадай! Чего молчишь? Ну! Тебя спрашиваю!

Что могъ отвѣтить ему сжавшійся комкомъ Вайсбергъ? Ему никогда и въ голову притти не могло, что отъ Пономаренки можно ожидать какихъ-то особыхъ событій или важныхъ обстоятельствъ, связанныхъ съ именемъ такой невѣдомой личности или съ годами поблекнувшей революціи.

— Не угадаешь, братъ. Да и никто изъ васъ, буржуазовъ, не угадаетъ. Я! Я одинъ, понимаешь, Вайсбергъ! Я, Пономаренко, натворилъ револющыю эту самую! Подъ моимъ руководствомъ начала все это дѣло моя шпана, сотенъ съ пять, во какіе!.. Якъ вскочу это я, Пономаренко, на Невскомъ на грузовикъ, на тумбу, на бочку, на заборъ, а то и на чужой балконъ, да якъ гаркну: «Товарышши, сомкнися да вдаримъ въ боротьбѣ роковой»! И пошло, и пошло, и пошло...

Вайсбергъ только глаза протиралъ. Неужто это тотъ самый Пономаренко?

— И все ты брешешь, Пономаренко, да вѣдь ты безъязыкій. — Я-то? Садись, Аронъ, сюда. . . ты, значитъ, будешь публика, народъ. . . А народу вашего тогда, олуховъ и идіотовъ, была тьма тьмущая. . . Стоитъ онъ себѣ, народъ значытъ, а мы на него во всю лаемъ, изрыгаемъ, проклинаемъ анафемой, прямо въ морду плюемъ, а онъ хоть бы что! . . какъ быдто не про него. Понимаешь, иной разъ самому противно было. Даже нарочно, по злобѣ, на человѣка плюнешь, а ему нипочемъ, — тьфу, даже и теперя досадно! Однако не мѣшай, слухай трошко! . .

Пономаренко вскочилъ на табуретку и сталъ держать по памяти одну изъ своихъ старыхъ петербургскихъ рѣчей:

— Граждане, товарышши, рабы, — ору это я. — Гляди, народъ расейскій, сюда, на эту наскрозь шрапнелью прострѣленную грудь, — а грудь мою, краснымъ намазанную, народу, значьтъ, показую, народъ охаетъ, ахаетъ, стонетъ. — Этой израненной грудью, — гаркаю я во всю глотку — защыщали мы царское самодержавіе, покамѣстъ не сказали себѣ въ окопахъ: «будя, довольно проливать кровушку нашу, теперь чередъ за капыталистами и буржуазами!» Будя! оворю вамъ я, Пономаренко, первый авангардецъ величайшей Рассейской революціи. А теперя дайте, оворю, цыгарку и накормите освободи-

теля отъ царскихъ окоповъ, и будя поливать нашей крестьянской солдатской кровушкой царскіе значытъ афронты.

Пономаренко передохнулъ, отдуваясь.

— Понымаешь теперь? То-то-то-же! .. Вотъ тебѣ и безъязыкій! ..

— И все же ты брешешь, Пономаренко! .. брешешь! .. — огрызнулся Вайсбергъ.

— А ты, Аронъ, не обрывай, когда Пономаренко говоритъ! .. И стоялъ я этакъ съ этою въ кровь нарочито расцарапанною грудею, а мыныстръ-комысаръ изъ жидівъ, волосатый такій и бородатый, протискался ко мнѣ значытъ черезъ народъ собрамшись, какъ услышалъ значытъ мою реплику, обнялъ меня и самъ къ народу оворить сталъ: «до какихъ же порей еще будемъ носыть царское ыго и проливать святую кровь этихъ вотъ нашихъ рабятъ?» Понымаешь, и первый въ шапку мою десятирублевку бросилъ да въ самую израненную грудь при всемъ народѣ поцаловалъ... Што, братъ Аронъ? А народъ такъ и ахнулъ, даже можно сказать, слезы пролилъ. Мнѣ въ шапку серебра набросали, страсть!. А вотъ другимъ разомъ стою это я на самомъ балконѣ этой самой бальерины, што передъ царемъ танцовала, и опять таки бью себя въ раненую грудь и передъ народомъ, значытъ, думки свои выкликаю: «Будя танцовать на нашемъ батрацко-рабочемъ хребтѣ! .. Отказываемся отъ имперылыстыческаго фронта, мать вашу! .. Мы,

значытъ, какъ послѣдователи Марксака и зімля наша, и домы, и все лышнее, что у капыталыста и буржуаза! И какъ верховный нашъ вождь Володимиръ Данилычъ Ленинъ. . .

— Врешь! Владимиръ Ильичъ, — поправилъ авангардца Рассейской революціи Ивана Пономаренку освѣдомленный Вайсбергъ. . .

— Одинъ дьяволъ, все едино! Въ морду! . . . Довольно пить нашу кровушку, попремъ, ребята, къ соціялъ-предателямъ, пойдемъ до мыныстровъ, да потребуемъ «долой тайную дыпломатыю», — айда за мной, ракаліи, на Исакіевскую площадь! . . А какъ не послухаетъ капыталыстыческое мыныстерство, — въ морду, мать вашу! . . Айда за мной! . .

Вайсбергъ давно уже свою усталую, а можетъ, и обалдѣвшую голову опустилъ на свои худыя руки, и передъ нимъ, точно вчера это случилось, такъ ярко пронеслась панорама такихъ же одесскихъ изрыгателей свободъ и толпы убійцъ, имъ сопутствовавшей.

Между тѣмъ Пономаренко вообразилъ себя и вправду руководителемъ соціалистическихъ Марксаковъ на Исакіевской площади, отвергшимъ, вѣроятно, въ эту минуту робкія и кроткія заявленія выходившихъ на балконъ членовъ временнаго правительства, такихъ напуганныхъ и беззащитныхъ. . . Пономаренко вошелъ въ азартъ и сталъ не на шутку въ цирковой уборной прокладывать себѣ дорогу къ нимъ, къ этимъ воображаемымъ

министрамъ, размахивая плечами и руками, какъ веслами, и кричать: «Долой, долой ставленниниковъ Николая, ха-ха-ха... Хо-хо-хо»!.. — «Долой тайную дыпломатыю»! — Ты чего. Аронъ, спрятался? Вылѣзай сію же минуту! Вылѣзай, тебѣ оворятъ! Тьфу! Тоже мущина, а кулачки, что у щенка лапа, тьфу!..

Вылѣзъ Вайсбергъ изъ своего убѣжища, да прямо въ лицо Пономаренкѣ:

— И все ты врешь, врешь, брешешь, Пономаренко! Не могли же они такого дурака, какъ ты, въ публику выпускать!..

— Може я и дуракъ, но честной, и подѣломъ мнѣ, ослу, теперича. Дуракъ! Какой же я дуракъ, ежели меня конвойнымъ и по страшному секрету самъ Гришка Зиновьевъ въ Харьковъ за своего тѣлохранителя возилъ? По стопамъ удиравшаго изъ Харьковщины воеводы гайдамаковъ Балбачана!.. А капыталысты и банки въ Харькові, — бацъ! всѣ голубчики на мѣстѣ... удрать-то и не успѣли!.. Не забуду я по сей день, Аронъ... Гришка это на соборной площади смотръ тамошнимъ марксакамъ дѣлаетъ, да какъ заоретъ: «значытъ, буржуазы у васъ всѣ еще живы»!!. И началося... И началося!.. Адовщына одна!..

Зима лютая... Декабрь... Страшно!.. Шо воны съ человіками подѣлали!..

— Значитъ, ты самъ бандитъ и убійца, — не вытерпѣлъ ошеломленный Вайсбергъ и бросился

къ двери, обтирая о пиджачекъ свои руки, точно на нихъ были слѣды человѣческой крови.

— Убью, растопчу, ты какъ смѣешь! Я не убивецъ! Замолчи, Аронъ, убью! Мать...

...И загребъ Пономаренко одной рукой своего обидчика, да на столъ тихо передъ собой усадилъ.

— Теперь потолкуй у меня, ну! Народъ имъ повѣрилъ, почему же мнѣ дураку было марксакамъ не вѣрить? Но убивцемъ ныкогда не былъ, никого не трогалъ и самъ еще твоимъ же евреямъ тайно въ подвалъ хлѣбъ и яблоки таскалъ... Убивецъ? Ты у меня гляди, Аронъ, заикнись еще! Я только въ тѣлохраныteляхъ считался, бо дуже здоровенный Пономаренко бувъ.

И Вайсбергъ повѣрилъ, не могъ не повѣрить, сидя на столѣ передъ самимъ Пономаренкой.

— Убивцемъ еще сдѣлаюсь, это вѣрно! Погодите, олубчыки... Доберется до увсихъ васъ Пономаренко!.. Долго еще поганить вамъ землю Пономаренко не позволитъ... Мое дѣло было маленькое... Всѣ къ нимъ понаперли, и Пономаренко пошелъ. — Вся зымля, оворятъ, ваша, — а почему Пономаренко отказываться отъ нее, отъ землицы-то!.. Фабрыки, гритъ, тоже ваши, — почему Пономаренко не попотѣть на своей собственной фабрикѣ, на свое же добро!.. «Долой, лаешь, тайную дыпломатыю», — а зачѣмъ государству олодранцівъ секреты. — што, Аронъ, такъ я оворю?..

— А чѣмъ же ты, Пономаренко, кормился, промышлялъ все это время тамъ?

— Намѣтки, наблюденія значытъ все дѣлалъ. Да-съ. Наблюденія. На себѣ испытать захотилося, понымаешь? . . . Антиллигенцыя и буржуазы бѣжали, а Пономаренко наблюденія помѣчалъ. Конвойнымъ состоялъ, жисть разныхъ Циковъ въ самомъ Кремлѣ оберегалъ. . . Былъ я со всими свой, и даже самого Ильича, когда значытъ уже безъ языка былъ, какъ дите малое, я его на рукахъ переносилъ. . . Подъ конецъ онъ и подъ себя дѣлалъ. . . Жаль ероя, жаль этого большого Марксака. . . Ты чего это глаза на меня выпучилъ? . . Можетъ, ты, Аронъ, насупротивъ меня тайную дыпломатыю имѣешь? . .

Вайсбергъ разсматривалъ разсѣяннымъ взглядомъ этого бывшаго ординарца Ленина.

— Значитъ, и звѣзда у тебя красная... и думки красныя. . . и руки красныя! . . Какъ у Ленина.

— Не красныя, у него были, а мокрыя. . . Жаль бѣднягу, только мокроту отъ него я и видѣлъ. А што я еще видѣлъ, этого ныкто, понымаешь, ныктошенько, не увидитъ и не узнаетъ. . . Золото, груду золотыхъ слитковъ, а бриллiантовъ — во, кучами, даже не ящиками, а мѣшками увозили мы тайкомъ на Востокъ, въ такое мѣсто, такое мѣсто! . . Ныктошенько! . . По рожѣ твой вижу, не вѣришь, — вотъ те крестъ! Фондъ желѣзный значытъ. . . Въ тайгѣ! . .

Пономаренко сталъ истово креститься, и не повѣрить ему было нельзя. . .

— Мой секретъ. И открою я это мѣсто только — угадай кому!

— Мнѣ, Ваня! Мнѣ смѣло можешь открыться.

— Тебѣ? — презрительно и съ жалостью посмотрѣлъ на Вайсберга кладовладѣлецъ. — Открою я тайну мою страшную только русскому Напаліону. Объясняли мнѣ разъ про такого. А какъ не дождуся, тогда я самъ, да, я самъ за Напаліона! Чѣмъ я хуже Сталина? Только я всему народу силу и богатство верну, я значитъ за весь народъ, — что капыталыстъ, что голодранецъ, — за всѣхъ значытъ, а енъ балабошка только за партыю, за марксаковъ. Ну, а теперь, айда до дому. . . А золота, а брилліянтовъ поприпрятали! Страсть!

И шли пріятели Данцигской керосиновой ночью до гавани, до верфи, а тамъ берегомъ и лѣсомъ до ночлега, до землянки. Жаркіе лѣтніе дни разряжались къ вечеру зарницами молній и раскатами грома. Тишина медленно спускавшихся сумерекъ нарушалась вдругъ благотворной и живительной дождевой дробью. . . Пыль пробовала сначала приподняться. На плохо мощеныхъ улицахъ Данцига эта пыль давно и удобно улеглась, а тутъ этотъ теплый дождь, эта для людей бодрящая влага побила ее, эту вкрадчивую, сѣрую пыль. . . И такъ вдругъ стало хорошо дышаться въ Данцигѣ, у гавани, послѣ коннокисла-

го запаха циркового навоза... Пріятели не спѣшили на ночлегъ. Успѣется, есть чѣмъ и поужинать, — Вайсбергъ велъ это несложное хозяйство, — до утра вѣдь далеко, Пономаренкѣ нечего торопиться на обычныя цирковыя репетиціи, — свой крестъ, свои двѣнадцатипудовыя гири онъ аккуратно каждый вечеръ съ разными варіаціями ровно сорокъ минутъ подрядъ выжималъ, таскалъ на себѣ... Протащитъ онъ ихъ завтра и безъ репетиціи, какъ таскалъ онъ ихъ ежедневно вотъ ужъ скоро тридцать дней... Кое-что собрано, надо податься на другую сторону, въ другую страну...

— Въ Парижъ бы!!! Къ этимъ идоламъ Идельсонамъ, — обронилъ свою тайную думу Вайсбергъ.

— Изъ-подъ земли отыщу я твоихъ хозяйчиковъ. Дай срокъ, — пробурчалъ Пономаренко.

Вайсбергъ разложилъ костеръ, подвѣсилъ на треногѣ котелокъ съ рыбной всячиной и съ зеленью, а сами пріятели улеглись по близости на косогорѣ...

Какъ Вайсбергъ ни двигался, какъ ни упирался ногами о скользкую траву, онъ выше груди Пономаренки никакъ не могъ добраться. А Пономаренко, заложивъ за голову руки, вздыхалъ, вспоминалъ:

— Эхъ, Аронъ, развѣ Пономаренкѣ тутъ мѣсто? Мнѣ двери были всюду отперты. Въ краско-

мы меня Ворошиловъ звалъ, потому силища, да окромя всего конвойнымъ у самого Ильича! Жаль, что тотъ рано безъ языка сталъ. Славные были денечки, Аронъ! Соберутъ это насъ темной ночью во дворѣ Кнышынской, та самая бальерина, шо предъ самымъ царемъ танцы танцовала, эдакъ сотню-другую, али въ цыркѣ на Каменностровскомъ, да давай репетыцыю, молъ, что балакать народу завтра, гдѣ, какъ, кому, на какой площади... Былъ это у насъ такой жыдокъ съ козлиной бородкой, Нехамкесъ али Лупичарскій — запамятовалъ, чортъ его, дьяволъ бери! — такъ знаешь, по двадцать разъ заставлялъ повторять, рыпытыцыей напиралъ на насъ. Оретъ на шпану, кулачками грозится, матерщину пускаетъ: — Помни же, пролетарыаты, — рычитъ онъ на всю нашу шпану, — бейте себя почаще въ грудь и въ морду, якъ объ ранахъ солдатскихъ народу оворить будете. А рожу, оворитъ, землей обмажьте, — изъ окоповъ, значытъ, царскихъ молъ, голодными бѣжали. Понымаешь, Аронъ? А какъ будете, гритъ, ругать поповъ, помѣщиковъ, капыталыстовъ, рубите, гритъ, воздухъ руками да поплевывайте по сторонамъ; а подъ конецъ кричите молъ слабымъ голосомъ: — голодные, молъ, помогите, рабы-граждане, да съ шапкой этотъ самый народъ-халуй и обходите!... Вотъ оно какъ!! Охъ, и стерва же былъ этотъ жыдокъ!... Морда плюгавая, козлиная, такъ смазать и хотится!.. Кончаетъ онъ эту ночную

рыпытыцыю, да кличетъ: — Ну, подходи, оворитъ, балда. Сегодня только по цѣлковому на рыло, нема больше. А мнѣ, какъ старшому, онъ сразу трешницу, потому я, какъ старый марксакъ, самъ обучалъ всю эту тупорылую шпану... — Да... Какъ же было не вѣрить, что и земля твоя, и фабрика твоя, и домы твои... и чужая жiнка твоя?.. Была пора!.. Чтобъ они подохли...

— Пожилъ ты, Ванюха, видно, въ свое удовольствiе: и нянька у Ленина, и красный командиръ, и кладъ, — дай Богъ каждому еврею...

Пономаренко давно не считался съ отсталыми политическими взглядами Вайсберга и на шуточки его не отвѣчалъ вовсе, больше предаваясь воспоминанiямъ. Пономаренко не обращался ни къ кому, и лежавшiй рядышкомъ навзничь Вайсбергъ сталъ для Пономаренки вовсе безпредметнымъ.

— А опохмѣляться сталъ я, когда поставили меня было сейфы наблюдать... Сначала не понималъ и невдомекъ было: никого не допускать и баста!.. И вдругъ глубокой ночью то одинъ, то другой... ордеръ въ рукахъ... приказъ молъ изъ Смольнаго... А балакали, бытто на народный фондъ, да въ кассу, молъ, пролетарской армiи... Только ужъ попозднѣй я раскусилъ... И воровали же бестiи!.. И рылись же по сейфамъ, ракло!.. И блядье съ собой по сейфамъ таскали. Вы-

бирай что хошь... Страсть! Вотъ оно!.. Эххаа! Мать вашу!.. Соцыалысты!..

Вайсбергъ сейфовъ не имѣлъ. Но онъ крѣпко запомнилъ свои четыре тысячи сто пятьдесятъ пять марокъ и братьевъ Идельсоновъ...

— Конечно, — смирялся тотчасъ же Вайсбергъ, — Богъ далъ, а Идельсонъ взялъ. Что Вайсбергу до чужихъ сейфовъ?

Онъ уснулъ рядомъ съ размечтавшимся Пономаренкой. Пока тотъ выбрасывалъ свои думы тяжелыми обрубками, Вайсбергъ, не дожидаясь результатовъ ночныхъ ощупыванiй марксаками сейфовъ, уснулъ, уснулъ безъ ужина, тяжелымъ бредовымъ сномъ. Пономаренко даже забылъ бы о немъ, если бъ не отрывистыя, похожiя на стонъ, придушенныя, сонныя всхлипыванiя Вайсберга. «Ракло!.. Раклы!.. Ракло!..» Трудно было разобраться, относились ли стоны Вайсберга къ марксакамъ или къ Идельсонамъ. Пономаренко бережно взялъ Вайсберга на руки, — сыровато, вѣдь, простудится, — отнесъ его въ землянку и удобно, тепло уложилъ на лежащiй на полу матрацъ изъ листьевъ..

Не до ѣды было и Пономаренкѣ. Что-то бурлило въ немъ, волновало и давило. Мысли отрывочныя, безпокойно-досадныя, то вспыхивали, то исчезали, покрывая своей мутной тяжестью однѣ и зажигая другiя, новыя мысли, одна другой безумнѣй по своей безпощадной мстительности и каторжной безжалостности. Пономаренко многое

видѣлъ, но словъ не любилъ, и въ немъ происходило неясное для него самого броженіе. Давили безцѣльность и никчемность. Одно онъ твердо почему-то сознавалъ — не жилецъ онъ на этомъ свѣтѣ. Онъ считалъ себя обреченнымъ. Вотъ найдетъ еще дюжину такихъ, какъ онъ, и — айда туда, домой! .. Домой! .. Тутъ много лишняго говорятъ, спорятъ и опять спорятъ всѣ, какъ ученые... Пономаренко сталъ у двери хижины, на три головы самъ выше крыши, и уперся усталыми глазами въ потухающій костеръ, тщетно отгоняя прочь все ярче возникавшія передъ нимъ картины.

Динамитныя плитки — вотъ чертово изобрѣтеніе! .. Зачѣмъ таскалъ я ихъ изъ одного города въ другой? А? Зачѣмъ ты, сукинъ сынъ Пономаренко, изъ Вормса въ Берлинъ таскалъ эти плитки!? Не зналъ?! .. Тебѣ говорили, что образцы кокса? .. Хо-хо! А зачѣмъ опять тебя же, дурака Пономаренку, въ Софію погнали съ какими-то важными приказами? ... Соборъ взорвать!? Да почемъ я, Пономаренко, зналъ! .. Сукины дѣти! .. Почемъ зналъ?! .. Передалъ тамъ пакетъ, а самъ вонъ едва ноги унесъ? .. А зачѣмъ?! .. Будя, замолчи, языкъ проклятый, да совѣсть поганючая! .. Время ли такое теперь, чтобъ вспоминать!

Все въ Пономаренкѣ кипѣло.

— А какъ попался, такъ они, стервецы, разомъ отказалися отъ меня, призакрылись, знать молъ

его не знаемъ... Чуть съ голодухи не подохъ... Босой, голый!.. Въ чужомъ городу!.. Кабы не Вайсбергъ, пропалъ бы. Вотъ вы какіе!.. Знать молъ Пономаренку не знаемъ!?.. Вотъ оно!.. О, Господи!

Впервые за долгіе годы сорвалось съ языка Пономаренко «О, Господи»... И странно, какъ-то тихо стало, такъ тихо кругомъ, и вѣтеръ точно на мгновенье дыханье затаилъ, деревья долу пригнулъ, чтобы снова затѣмъ, вздохнувъ полной грудью, выпрямить ихъ въ высь...

Такъ все дальше, глубже и тяжелѣй, падали думы Пономаренки... Такъ мутныя весеннія воды напираютъ въ закупоренные, за зиму отдохнувшіе водостоки, и хлюпаютъ, и тяжело съ ревомъ бьются о стѣны, неудержимо ища просвѣта и выхода.

— Кутеповъ!.. Что Кутеповъ?!.. Шутка!.. Человѣка украли? Подумаешь!.. Такое ли еще готовятъ вамъ эти ракаліи!.. Побачете... Эхххаа!.. — Проснитесь, дураки, очнитесь вы, олухи заграничные!.. Мать вашу!.. Торговлишки съ ими захотѣлося!.. Ладно!.. Эмыграцыя, оворятъ... Што эмыграцыя, — увся Явропа, какъ бабы, какъ сморкатые робятки... все собираются и оворятъ... оворятъ... пока ихъ самихъ эдакъ за горло да врасплохъ не схватютъ... Во!.. А они себѣ пишуть, пишуть... спорютъ въ газетахъ своихъ... Вѣстимо — гибель!. Ээххъ!. — Гляди, чтобъ поздно не було!.. Вотъ пригла-

сили бы комиссары изъ эмиграцыи Ивана Пономаренку на совѣтъ свой въ Парижъ аль въ Прагу! .. Эхххаа! .. Што невозвращенцы? Балалайка! .. Аль гармошка! ..

Въ эту минуту, жилистыя руки Пономаренки стали еще туже, еще тверже, и весь онъ выпрямился, точно стальной, со сжатыми кулаками и со стиснутыми челюстями, — казалось, собирается дать насильникамъ по мордасамъ.

— Шо знаютъ воны, эти дыпломаты? .. Кабы знали они, шо у нихъ подъ самымъ носомъ, черезъ ихъ границы, — хо-хо-хо, — такой ядъ ядовитый въ ихъ страны перевозютъ... Ээ! .. Мать вашу! .. Смерть, ядъ! .. Эхха! .. Наторгуютъ на милліенъ, а яду и смерти наберутъ на сто...

Такъ дѣлился Иванъ Пономаренко своими давившими его думками съ темной ночью, одинъ, занесенный въ чужія земли, никому ненужный и невѣдомый...

— Выдумали себѣ слово «невозвращенцы» и довольны, — обнюхиваютъ ихъ, облизываются... Ну такъ и не возвращайтесь, къ чорту! .. Кому вы нужны? .. Марайте въ газетахъ свои воспоминанья... торгуйте ими! .. Эхха... А публика хороша! .. Каждый перстъ всовываетъ, обсасываетъ... Эка невидаль, невозвращенецъ! .. Да што онъ вообще знаетъ? .. И толкъ-то, толкъ какой? Нѣтъ, Пономаренко вернется! Иванъ Пономаренко безпремѣнно вернется! .. Онъ туда

одинъ дорогу, самъ дорогу найдетъ! . . Пономаренко безпремѣнно вернется!

Весь обликъ Пономаренки говорилъ: — этотъ вернется, безпремѣнно вернется! .

Разсѣялась предутренняя млечная поволока, стиралась грань между уходящей ночью и наступавшимъ утромъ. . . Росы заиграли раннимъ мытымъ золотомъ. Утреннее солнце, не жаркое, послѣ дождя, такъ ласково, совсѣмъ не больно, пріятно пригрѣвало спящихъ пріятелей.

Пономаренко первый, проснувшись, сталъ на своемъ обычномъ утреннемъ посту, поджидать спѣшившихъ на базаръ молочницъ. . .

Съ горячимъ дымящимся кувшиномъ въ одной рукѣ и краюхой чернаго хлѣба въ другой, участливо, ногой, поталкивалъ Вайсберга Пономаренко.

— Айда, Аронъ, вставай, да и за работу. Ты языкъ знашь, и ты меня въ Парижъ свезешь. Тамъ знаютъ, какъ Россію свободить надоть. . . Тамъ, братъ, читалъ я, когда сидѣлъ отъ желудка по своей надобности, случайно на клочкѣ одной, русской газеты изъ Парижа, тамъ народъ головастый, наши будущіе мынистры. Айда туда! Языкъ почесать, да пардону за одно ужъ у бывшихъ капыталыстыческихъ мынистровъ просить хотится. . . Неважно, можно сказать, даже хамомъ я со своей шпаной на Исаакіевской напиралъ да оралъ на нихъ. Дуже напужали мы ихъ, мынистровъ, тогда. Колѣнки у мынистровъ

отъ одного вида Пономаренки такъ и тряслися. Вотъ те крестъ, коль не вѣришь! .. Такъ и тряслись колѣнки у мыныстровъ... Эххха! .. Було это, да забыть про то надобно.

Вайсберга въ это золотистое утро не узнать было, столько вдругъ пришло къ нему за ночь бодрости и жизнерадостности.

— Эхъ, Ваня, слушаю я тебя, и жаль мнѣ тебя. Не попадешь ты въ министры будущіе. Нѣтъ. И не надо. Къ чорту. Еще вотъ вчера что-то давило и притупляло, просто жить стало противно. А вотъ сегодня — посмотри кругомъ — и лѣсъ этотъ, и заливъ, и солнце горячее — какого чорта люди морочатъ себѣ голову какими-то Соединенными Штатами Европы? .. Я, Ваня, тоже сидѣлъ какъ-то, по надобности, подъ деревомъ, и тоже прочиталъ объ этомъ, и о дрязгахъ, и о Штатахъ Европы, въ газетѣ... Желудокъ у меня знаешь, отъ чернаго хлѣба попортился... такъ я часто подолгу подъ деревомъ... Читалъ это я, читалъ о какихъ-то Соединенныхъ Штатахъ Европы, да и подумалъ я... А какъ подумалъ, такъ такое, знаешь, разстройство сдѣлалось! .. Такъ вотъ я говорю: — Мало имъ три Интернаціонала, такъ они себѣ четвертый придумываютъ! .. Не торопитесь, голубчики, будетъ у васъ и четвертый Интернаціоналъ. Да такой на этотъ разъ, такая скотобойня будетъ, что въ крови потопятъ сами же они свои семьи. Третій Интернаціоналъ будетъ казаться тогда просто игрушкой-пуга-

чемъ. . . Ваня, а Ваня, скажи по секрету, что такое есть этотъ ихъ Интернаціоналъ подъ номеромъ три. Говорю, произношу, а неловко распросить, «шо це за штука». Мы куда сейчасъ? Знаешь, пойдемъ, Ваня, на базаръ, на толкучій, людей посмотримъ, кое-что купимъ, перепродадимъ. . .

Пріятели бодрымъ шагомъ торопливо зашагали. Вайсбергъ едва поспѣвалъ за Пономаренкой и, наконецъ, попросилъ присѣсть, передохнуть.

— Самоваръ, знаешь, Ваня, и тотъ быстро тухнетъ, — заглядывая ему въ глаза снизу вверхъ, точно извиняясь, съ грустной улыбкой замѣтилъ Вайсбергъ, держась за сердце и тяжело дыша. — Слушай, Пономаренко, — послѣ паузы, придя въ себя, обратился къ нему Вайсбергъ, — что съ тобой будетъ и куда тебя думки твои несутъ? Что ты безъ Вайсберга дѣлать будешь? . .

Пономаренко давно былъ недоволенъ своимъ пріятелемъ Вайсбергомъ. Высохъ весь какъ-то Вайсбергъ, и кашель его билъ по ночамъ. Пономаренко сострадалъ ему, поилъ его горячимъ молокомъ утромъ и передъ сномъ и все обнадеживалъ: «скоро, скоро будемъ въ Парижѣ, тамъ раздобуду я тебѣ твоихъ Идельсоновъ, тамъ получу я отвѣтъ на всѣ мои думки».

Сейчасъ Пономаренко сталъ шарить въ своемъ жилетѣ и вытащилъ замызганный клочекъ газеты. — Вотъ онъ! . . Читай. . . И барыни, у нихъ, какъ ученые, пишутъ. . . зубасто спо-

рютъ! .. Спрошу-ка я и у нихъ въ ихнемъ Парижѣ, што дѣлать надобно, штобы Росеея снова нашлась... Какая-то Катюша изъ Праги, — вотъ читай, — пореволюцiонная бабушка что ли! Зубастая... Еще вотъ что. Ты, Аронъ, пытаешь про Интернацыоналъ? Такъ вотъ послухай. Никакого Интернацыонала до 24 году не было. Было тамъ чекистовъ, китайцевъ и латышей, голодранцевъ и ракло, ракло..., а народовъ Востока ни хера, что котъ наплакалъ... Одинъ маскарадъ, а не съѣздъ. Меня самого разъ подъ корейца вымазали, да я самъ еще съ полсотни ракло размалевалъ. Рожу намъ накрашивали, даже носы и брови наклеивали, чтобы значытъ всѣ масти были. Еще учили мычать по восточному... Такъ-то! Это ужъ опосля настоящiе содержанцы изъ Азiи понаѣхали. Въ Парижъ бы надобно, братъ Аронъ, въ Парижъ поскорѣй! .. Денегъ бы тамъ добыть, да твоихъ четыре тысячи сто пятьдесятъ пять, эхма! Сколько дѣловъ натворить можно! Нѣсколько самолетовъ, нѣсколько молодцовъ! Я покажу, я знаю, гдѣ они, всѣ эти Цики, — и бахъ, бахъ, бахъ! .. Съ Кремля начать надо, съ землею сравнять, чтобы никакихъ! И къ утру — одно мокрое мѣсто! Чисто. Никакихъ блохъ и — голая земля... И снова Рассея! ..

Пономаренко помолчалъ.

— А ты, Аронъ, какъ полагаешь, возьмешь ты у меня, какъ ученые люди сказуютъ, портфелю мыныстра съ продовольствiемъ?

Вайсбергъ былъ два въ раза старше Пономаренки, и вынесенные имъ на чужбинѣ голодъ, холодъ и безнадежность давно вытѣснили изъ его памяти какой-то тамъ Кремль. Чтобъ вообще вывести «блохъ», это онъ, Вайсбергъ, согласенъ, но сложныхъ плановъ и безумныхъ мечтанiй Пономаренки Вайсбергъ не раздѣлялъ. Вообще Вайсбергъ словъ и программъ больше не выносилъ. Первые годы на чужбинѣ Вайсбергъ самъ каждый день строилъ все новые планы, возлагалъ на всякое неказистое событiе все новыя обманчивыя надежды и каждый день усердно и жадно глоталъ зарубежныя газеты. . . Читалъ, долго читалъ, годы читалъ онъ эти газеты, пока въ одинъ день, какъ-то сразу, не осточертѣли ему эти взаимные споры, доклады и программы. Особенно тѣ изъ нихъ, что рекомендовали Россiю, Россiю Вайсберга, въ «Соединенные Штаты» превратить. Такъ все «осточертѣло» ему, что совсѣмъ, чудакъ, всѣ газеты забросилъ! . . Забросилъ, затосковалъ, даже тошнить его стало. . . Серьезно испугался тогда Вайсбергъ. До того стало тошнить бѣднягу, что даже побѣжалъ къ знакомому фельдшеру, не ракъ ли у него, Вайсберга, завелся.

Теперь Вайсбергъ давно забросилъ всѣ великiе вопросы и къ словамъ даже такого близкаго человѣка, какъ Пономаренко, былъ совершенно равнодушенъ. Равнодушенъ былъ Вайсбергъ въ свое время и къ фельдшеру, предписавшему ему

какія-то облатки противъ рака. Разъ молъ тошнитъ, то ракъ. Вайсбергъ уважалъ одну хирургію.

— Слушай, Ванечка, что скажетъ тебѣ Вайсбергъ. Отъ болтовни ни одинъ больной еще не выздоравливалъ. И чѣмъ больше у постели больного языки чешутъ, жена ли или теща, больному все хуже будетъ. . . Можетъ и смерть набѣжать, если хирурга не позвать. Этотъ же какъ ножикомъ пырнетъ, такъ больной сразу у себя свою болячку увидитъ. . . И никакихъ портфелей съ продовольствіями Вайсбергъ не желаетъ. А такъ какъ ты, Пономаренко, Вайсберга переживешь, то одно я тебѣ совѣтую, — хирургомъ сдѣлайся!

Откашлялся Вайсбергъ, дыханіе перевелъ и такъ любовно посмотрѣлъ на своего Голіафа.

— Гильотина, Иванъ, знаешь, что такое?

— Слыхивалъ. Знаю.

— Такъ вотъ, ты какъ послѣ Парижа на Москву пойдешь, то поставь передъ Кремлемъ эту самую гильотину, да народъ-словоблудъ и собери. Пускай каждый языкъ свой, — головы не надо, она, глупая, образумиться еще можетъ, — но чтобъ каждый свой языкъ подъ гильотину подставилъ, а ты этотъ языкъ чикъ — и готово.

— А ежели языковъ такихъ да три милліона у этой шпаны? — стиснувъ зубы, отозвался Пономаренко.

— И совсѣмъ не надо столько, — спокойно замѣтилъ ему Вайсбергъ. — Триста, всего триста

языковъ отрубить, и снова оживетъ, воскреснетъ Россія! Двѣсти языковъ у главныхъ марксаковъ и по пятьдесятъ у этихъ. . . какъ ихъ. . . попутчиковъ. И никакихъ разрушеній, никакихъ бомбъ. Только триста языковъ отсѣчь. А Кремль пускай живетъ таки да себѣ на здоровье. Россія, Ваня, погибла отъ языка блудливаго и проклятаго. Это тебѣ Вайсбергъ съ Одесской Молдаванки говоритъ, хотя я и не долженъ бы обнародовать эту мою тайну, потому что и сейчасъ еще помню распоротые животы въ университетской Одесской клиникѣ послѣ погрома 1905 года! . . Видалъ ты потроха въ раскрытомъ животѣ у гуся, что для Пасхи? Такъ вотъ, такъ оно и было. . . Но Аронъ Вайсбергъ не злопамятенъ, Богъ съ ними. . А насчетъ трехсотъ языковъ не забудь! .

Пономаренко все запускалъ свою руку въ нечесанную голову, все пытался что-то Вайсбергу возразить, но только никакъ не могъ еще разобраться, серьезно ли Вайсбергъ съ нимъ разговариваетъ.

— Если ты, Аронъ, серьезно насчетъ гылетыны, то мы наперво поставимъ ее въ Парижѣ, чтобы будущіе наши мыныстры и бабы изъ Праги не такъ много балакали!. Не хочу! . . Пономаренко не желаетъ, чтобы будущіе мыныстры на сцену выводили еще одну бабушку. . . пореволюцыонную бабушку! . . Баста! Уже одну революцыонную бабку выводили, — баста! . Крышка, мать! . Изъ Парижа повеземъ мы съ собой эту самую

машину въ Прагу. Тамъ надо тоже основательно языки постричь. На, читай, что эти тамъ архаровцы въ своемъ какомъ-то сыцылыстыческомъ вистникѣ пышутъ!.. Значитъ, куда ни повернись, а безъ гылетыны нельзя!.. Ты, Аронъ, языку грамотенъ, значитъ меня и повезешь. Айда въ Парижъ, Аронъ, въ Парижъ!! Въ Парижъ!..

И пріятели добрались, Богъ вѣдаетъ, какими путями, какими пересадками, какими остановками, до Парижа.

Парижъ. Первое, что бросилось въ глаза Пономаренкѣ, — это дневныя, на палящемъ солнцѣ, представленія на коврикѣ, на открытомъ воздухѣ, передъ жадной до зрѣлищъ, глазѣющей публикой на бульварахъ, въ самой близости Сѣвернаго вокзала, на авеню Батиньоль и Гарибальди... Не одинъ Пономаренко, значитъ, выжимаетъ двѣнадцатипудовыя гири... Однако, надо думать, полныхъ двѣнадцати пудовъ у этихъ тутъ нѣтъ, и Пономаренко чуть съ трамвая не соскочилъ, чтобы тутъ же провѣрить. Вайсбергъ же былъ все время занятъ бесѣдой со встрѣтившимися земляками Рабиновичами... Отъ нихъ Вайсбергъ узналъ, что во первыхъ дѣла въ Парижѣ «паршивыя», что сами они, бѣдные Рабиновичи, изъ-за банкротства Лейзера Шапиро должны были отсидѣть въ такой тѣсной и неудобной Парижской тюрьмѣ восемь мѣ-

сяцевъ и что ихъ камеру заняли теперь какіе-то Идельсоны изъ Данцига! . .

— Ой, Идельсоны изъ Данцига! . . Что вы говорите?! . . Вайсбергъ чуть не обнялъ своихъ Рабиновичей, предоставившихъ свою тюремную камеру Идельсонамъ. . .

Вайсбергъ и въ самые плохіе дни утверждалъ, что есть Богъ на землѣ. Но Вайсбергъ не зналъ, что сказать, когда узналъ отъ Рабиновичей, что у Идельсоновъ при арестѣ никакихъ денегъ не оказалось?? Собственно Вайсбергъ хотѣлъ очень многое сказать, онъ даже въ трамваѣ энергично руками взмахнулъ, привскочилъ, но что-то внутренне удержало его. Обѣими руками схватился онъ за сердце и успѣлъ только крикнуть: «Ой, что же это такое»!?

На ближайшей остановкѣ трамвая Арона Вайсберга уже выносили. . . А еще черезъ два дня Пономаренко одинъ усѣлся на черномъ грузовикѣ французской больницы, рядомъ съ возницей, и довезъ Вайсберга до кладбищенской рѣшетки. . . Отъ Вайсберга Пономаренко давно узналъ, что нельзя «чужимъ» присутствовать при погребеніи еврея. Долго, до сумерекъ, оставался Пономаренко сидѣть на камнѣ у кладбищенскихъ воротъ, у еврейскаго кладбища. . .

Вмѣстѣ со смертью Вайсберга оборвалась у Пономаренка послѣдняя связь съ Европой. . . Осталось только одно. Онъ, Пономаренко, дол-

женъ еще посѣтить газеты и срочно переговорить съ бывшими и будущими министрами. А тамъ айда, туда, домой!

Иванъ Пономаренко остался одинъ, въ европейской пустынѣ мiрового города, безъ языка, безъ бумагъ... Къ черту проклятыя бумаги!.. Вопросъ о ночлегѣ не смущалъ Пономаренки, не смущала его и забота о насущномъ хлѣбѣ, — не за этимъ пришелъ онъ въ Парижъ!..

Сегодня важный день у Пономаренки. Когда онъ объявился въ одну изъ редакцiй, на него прямо набросились и сотрудники, и фотографы, и редакторы... Были вызваны и передовые общественные дѣятели, не то изъ «крестьянскихъ объединенiй», не то изъ «пореволюцiонныхъ примиренiй», и, наконецъ, какiе-то проектировщики русскихъ соединенныхъ штатовъ!...

Всѣ они тѣснымъ кольцомъ окружили его.

— Ура, ура, новый «невозвращенецъ»! — хлопали всѣ въ ладоши. Всѣ буквально танцовали вокругъ Пономаренки, фотографировали его...

— Ну, каково живешь, Геркулесъ Голiафовичъ? Не робѣй, братъ, не смотри такъ волкомъ, а толкомъ говори, говори безъ конца, ну, разсказывай обо всемъ!.. Ева Израилевна, приготовьтесь, мы будемъ диктовать... Ну и фельетончикъ завтра будетъ! И озаглавимъ же его! Какъ бы это покрѣпче ударить?.. Вотъ, есть! Мы назовемъ фельетонъ такъ:

«Новый невозвращенецъ Голіафъ Геркулесовичъ»

или:

«Долой тайную дипломатію»...

— А что?!.. Ловко придумано!.. Что же ты, Самсонъ Далиловичъ, молчишь? Да ты просто страшный!. Посмотрите, господа, какъ у него глаза блуждаютъ, и злые такіе!.. Господа, да кулачища-то у него какіе!!..

Постоялъ эдакъ Пономаренко, постоялъ, оглядѣлъ будущихъ избранниковъ въ учредительное собраніе, да какъ гаркнетъ, какъ ударитъ кулачищемъ по столу! Всѣ шарахнулись, кто куда, а кто даже на корточки присѣлъ...

— Ни съ мѣста, убью, раздавлю! Вы што же это все о спасеніи пишете, всякіе рецепты да резолюцыи печатаете!.. Не шевелись, убью! — и Пономаренко съ поднятыми кулаками сдѣлалъ два шага впередъ. — Писать, споры разводить, мастера, а какъ дѣйствовать, такъ на попятный?. Вамъ невозвращенцы нужны? Я, Пономаренко, возвращаться зову васъ всѣхъ. На Москву, на муку мученическую, на подвигъ, на смерть и снова на муку! Слова уже сказаны!.. Дѣла, дѣла, подвига и мукъ требуетъ отъ насъ она, тамъ, убіенная, распятая земля!.. Тамъ люди ожидаютъ, томятся и... презираютъ васъ!.. Презираютъ потому, што всѣ вы тутъ сытые да въ чистомъ бѣльѣ спорите промежъ себя про насъ, а мы всѣ

тамъ во вшахъ, да въ грязи! Я найду, съ кѣмъ на Москву, на Кремль пойтить, найду. Стой, не шевелись, руки вверхъ! Всѣ вы идолы отъ революцыи и марксаки! .. Руки вверхъ и не шевелись, пока дверь за собой не захлопну. Не надо мнѣ васъ, спорщиковъ и обманщиковъ! .. Къ чорту!

Пономаренко исчезъ. Пономаренко точно сквозь землю провалился. Откуда эта фигура, откуда это чудище?!

Кто-то изъ сотрудниковъ опомнился раньше другихъ и раньше другихъ оцѣнилъ все это смѣшное и нелѣпое положеніе... Пробовалъ даже руку къ телефонной трубкѣ протянуть и даже крикнуть успѣлъ: «соедините съ Кьяппомъ»! Но вспомнилъ кулаки недавняго гостя, и рука сама собой опустилась.

Пономаренко исчезъ.

На другой день газета жирнымъ шрифтомъ шумно оповѣстила, что ей «чуть не удалось поймать одного изъ убійцъ Кутепова, бродившаго вокругъ редакціи, и что ажаны недостаточно зорко слѣдятъ за подозрительными большевиками» ...

Проходили дни, недѣли, месяцы. Дни тянутся замѣтно долго, иногда мучительно долго, а время для завѣдомо обреченныхъ и вовсе не проходитъ... Стирается боль, притупляются мысли и желанія, выключаешь себя изъ живыхъ звеньевъ повседневной борьбы и радостей, — для такихъ остаются еще несложныя, но, увы, все же

обязательныя, помимо ихъ собственной воли, часы, существуютъ для Каляева, Сазонова, Камелкія повинности. Дни же, считанные дни и негиссера, для Пономаренки! .. — Въ такой-то день нѣчто свершится. Время же — для массы, для тихихъ историковъ и опаздывающихъ экономистовъ. . .

Пономаренко какъ въ воду канулъ, исчезъ изъ поля зрѣнія, — ему не до фельетоновъ, ему не до съѣздовъ, не до резолюцій. Пономаренко самъ еще не могъ ясно разобраться въ своихъ мысляхъ и устремленіяхъ. Ясно ему было одно, что надо сдѣлать что-то немедленно и очень важное: — пусть землетрясеніе, пусть смерчъ, пусть нѣчто грозное, кровавое. Если онъ, Пономаренко, этого не сдѣлаетъ — гибель ему же самому, ему, Ивану Пономаренкѣ, душевная гибель, ибо, по его какому-то сложному и, быть можетъ, больному расчету, на каждый день русской соціалистической революціи приходится въ среднемъ 125 изнасилованій, 2125 голодныхъ смертей, 11025 доносовъ, 12025 новыхъ коммунистическихъ рабовъ, 105025 взрывчатыхъ пропагандъ во всей вселенной, распродажа послѣднихъ остатковъ русскихъ цѣнностей и культуры, и каждыя 25 минутъ все новыя измѣны, предательства, святатства, распятія русской души, русской церкви, разрушенія тысячелѣтнихъ русскихъ устоевъ, ложь, сатанинскій хохотъ и — привычный ножъ въ спину вчерашнихъ и завтрашнихъ союз-

никовъ! . Пономаренко ненавидѣлъ себя, онъ презиралъ свой нищенскій словесный арсеналъ... То ли онъ еще знаетъ! . . Но всего вѣдь не скажешь, да и кому сказать! Кому?! Развѣ русская пролитая солдатская и народная кровь кого-нибудь убѣдила съ момента войны и до нашихъ дней? . . . Однако, не беритесь рѣшать. Человѣческая кровь обладаетъ особой тайной и, какъ Богъ все видитъ, да не скоро скажетъ, такъ и русская, столь обильно пролитая кровь когда-нибудь убѣдитъ, убѣдитъ, навѣрное всѣхъ убѣдитъ. . .

Всѣ эти взлохмаченныя, безпорядочно-буйныя, лишенныя всякой послѣдовательности порывы мысли не исходили ни отъ какихъ взглядовъ Пономаренки. Эти мысли какъ-то вдругъ, словно гулкіе удары подпочвенныхъ водъ, словно давно сдавленная чѣмъ-то лава, давно и тщетно гдѣ-то выбивались, задыхались, а вырвавшись на волю, устремились бурнымъ потокомъ, ломая и подхватывая на пути все, что мѣшало. . .

Иванъ Пономаренко исчезъ. Онъ точно въ воду канулъ, исчезъ изъ поля зрѣнія. Онъ убѣдился, что въ пустынѣ эмигрантскихъ праздно-болтающихъ объединеній не собрать ни одного активиста, ни даже дюжины головорѣзовъ, какъ онъ самъ. . . Но, можетъ быть, Пономаренко ушелъ въ Парижскій «Зимній Садъ» на роли тяжеловѣсовъ? Трудно сказать.

Проходили недѣли, мѣсяцы.

Вдругъ странные сбивчивые слухи поползли изъ Россіи о новыхъ массовыхъ арестахъ, разстрѣлахъ, пожарахъ въ самыхъ чувствительныхъ мѣстахъ пятилѣтки, о крестьянскихъ возстаніяхъ и объ отказахъ войскъ разстрѣливать народъ... А потомъ телеграмма, облетѣвшая весь міръ: «Около полудня появился надъ Кремлемъ аэропланъ!. Описавъ три круга, аппаратъ, при яркомъ солнцѣ, сразу снизился и сталъ забрасывать главнѣйшія зданія удушливыми бомбами... Видимо, летчики отлично были освѣдомлены касательно самыхъ важныхъ мѣстъ Кремля»... Такъ гласила первая, ошеломившая всѣхъ кредиторовъ Кремля, газетная депеша. Дальше пришли подробности. «Покружившись надъ Кремлемъ, аэропланъ вдругъ, какъ мертвый грузъ, почти вертикально, быстро понесся внизъ. Страшный ударъ и вдребезги разбитый металлъ, охваченный пламенемъ... И сразу стало тихо... Аппаратъ разбился у паперти Ивана Великаго. Въ обломкахъ аппарата былъ найденъ полусгорѣвшій трупъ летчика. Лица разобрать нельзя. Онъ былъ огромнаго роста.»

Такъ и не удалось установить, кто былъ этотъ безстрашный безумецъ. Всѣ газеты міра, самыхъ разныхъ направленій, отнеслись къ такому выступленію отрицательно. Общій выводъ былъ: — такъ исторія не творится.

Но развѣ знаетъ кто, какъ творится исторія, когда дѣло идетъ о Россіи? Развѣ знаетъ кто,

какими загадочными путями, въ таинственныхъ глубинахъ, тихо кристаллизуются, спекаются въ бриллiанты, подъ палящимъ солнцемъ, безмолвные пески пустыни? . .

Тихо и спокойно было, навѣрно, въ тотъ вечеръ небо надъ Кремлемъ, и никакихъ бурь не предвѣщало оно. Оно молчало.

И не было тамъ ясновидца, чтобъ угадать въ этомъ молчанiи невѣдомую, зарождающуюся силу и чтобъ увидать надъ Кремлемъ вставшую до небесъ, суровую, исполинскую тѣнь, въ латахъ, съ высоко поднятымъ мечомъ.

СЫНЪ ГРЕНАДЕРА.

(Разсказъ премированъ на литературномъ конкурсѣ журнала «Иллюстрированная Россія»).

Въ одинъ изъ раннихъ августовскихъ дней прибылъ изъ Житомира въ Петербургъ Абрамъ Соловейчикъ.

Привезъ онъ съ собою торбочку со скомканнымъ бѣльемъ и деревянный, двумя ржавыми, желѣзными обручами окованный сундучокъ, а въ карманахъ выцвѣтшихъ панталонъ находились неразлучныя отмычка, долото и, на прутикѣ, связка издерганныхъ, во многихъ мѣстахъ ущербленныхъ ключей.

Не будемъ забѣгать впередъ, когда имѣешь дѣло съ сыномъ браваго неизвѣстнаго солдата.

Отецъ Абрама, Соломонъ Соловейчикъ, изъ мальчиковъ выслужился, уже отцомъ четырехъ дѣтей. Служилъ онъ все въ одномъ и томъ же

галошномъ магазинѣ почтеннаго купца Бройде, въ сырой, сумеречной днемъ и ночью, затхлой ратушѣ, и получалъ каждую недѣлю, наканунѣ субботы въ пятницу, свои семь рублей жалованья. И каждую пятницу, мать и сестры, до полудня ничего не предпринимали, — а суббота вотъ-вотъ наступаетъ, и ничего еще не куплено, — подолгу высматривали изъ окна, не бѣжитъ ли отецъ... Если бѣжитъ, то значитъ съ нимъ и жалованье, будетъ, значитъ, и веселая суббота, и сытая цѣлая недѣля до ближайшей пятницы. Только по пятницамъ старикъ бѣжалъ, на минуточку только, изъ лавки къ ожидавшей его съ такимъ нетерпѣніемъ семьѣ. Въ остальные дни онъ ходилъ довольно степенно, не медленно и не шибко, съ зонтикомъ коричневымъ въ одной рукѣ, другая же уютно держалась у таліи, на спинѣ. Соломонъ Соловейчикъ очень цѣнилъ образованіе и завидовалъ онъ одной семьѣ: во всемъ городѣ тогда всего одна такая семья и была, у которой тоже единственный сынъ былъ гимназистомъ, и ѣздилъ этотъ гимназистъ въ какой-то Ананьевъ, гдѣ была такая гимназія. И этотъ гимназистъ чуть-ли не жизни стоилъ Абраму Соловейчику. Отецъ буквально покоя не давалъ сыну и очень терзалъ свою жену.

— Развѣ у тебя тоже сынъ?.. У людей, въ порядочной семьѣ, сынъ гимназистомъ, а у насъ что? Что у насъ, я тебя спрашиваю?... Ты хочешь, чтобы и онъ галошами торговалъ.. Что

изъ него выйдетъ, я тебя спрашиваю... Арестантъ, арестантъ изъ него выйдетъ, увидишь!..

Жалко было маму. А чѣмъ могла она помочь своему первенцу Абрамчику?...

— У Шулима Шварца сынъ гимназистъ, а у насъ? Что такое Шулимъ Шварцъ, я тебя спрашиваю, — банкиръ? Такой онъ банкиръ, какъ я фонарь...

И часто падала рука отца на сына, особенно, когда онъ заставалъ его у чужихъ, такихъ душистыхъ возовъ съ антоновскими яблоками... Мать была за доктора, отецъ стоялъ за инженера, ибо у ближайшаго помѣщика Чихачева сынъ тоже «на инженера».

Абрамъ Соловейчикъ самоучкой подросталъ и четырнадцати лѣтъ давалъ уже уроки довольно взрослой дочери владѣльца одной кустарной сыроварни. И семья Соловейчика получала, за уроки сына, натурой много молочныхъ продуктовъ, можно сказать, каталась, какъ сыръ въ маслѣ.

Къ окончанію Абрамчикомъ гимназіи владѣлецъ галошнаго магазина какъ разъ объявилъ себя честнымъ банкротомъ и ушелъ вмѣстѣ съ другими нищими въ Америку. Всѣхъ нищихъ въ восьмидесятыхъ годахъ не то Ротшильды, не то Монтефіоре сплавляли въ Америку...

Старикъ, лишившись и этихъ семи рублей, еще пуще настаивалъ «на инженера», тѣмъ болѣе, что каждогодніе похвальные листы, награды, убѣж-

дали отца, что для такого «геніальнаго ребенка» иного пути нѣтъ, какъ «на инженера»...

Въ сундучкѣ Абрама Соловейчика находились еще сверло съ деревянной рукояткой, маленькая тупая сѣкирка, физика Краевича, геометрія Малинина, его же тригонометрія, арифметическій задачникъ Евтушевскаго и — и хитроумнѣйшій, іезуитски, весь на подборъ, составленный не для каждаго смертнаго сборникъ алгебраическихъ задачъ Шмулевича... Изъ продовольствія въ томъ же сундучкѣ болтались два десятка крутыхъ яицъ, банка съ гусинымъ шмальцемъ, десятокъ рубленыхъ котлетъ и мясистые, съ бугорками, разрѣзанные вдоль и солью посыпанные, тщательно бѣлой ниткой перевязанные огурцы...

Сундучокъ всю дорогу изъ Житомира до Санктъ-Петербурга велъ бы себя совершенно спокойно и прилично, если бы не драка мѣднаго, помятаго чайника съ болтавшейся у самаго горлышка на веревочкѣ жестяной кружкой.

Нервные пассажиры протестовали, просили унять, прекратить этотъ надоѣдливый стукъ, и Абрамчикъ вновь и вновь принимался сверлить и ковырять сверломъ и долотомъ, сѣкиркой и издерганными ключами свой багажный гробъ. Съ трудомъ открывался этотъ гробъ, помогали сосѣди, а когда открыли наконецъ этотъ терпѣливый сундучокъ, то не меньшей возни стоило его закрывать.. И руки у Соловейчика сочились кровью, были въ царапинахъ, проклятые обручи

соскакивали, причиняли возню и боль... Куда удобнѣе было бы захватить съ собою какой-нибудь кожаный. Изъ настоящей свиной кожи всего лучше, да не такъ ужъ доступны эти кожи, эти свиньи.

Мать не довѣряла сестрамъ и потому сама, своими руками, готовила провизію и тщательно перевязывала огурцы. Ея единственный сынъ оставляетъ родительскій домъ... Онъ уходитъ въ самый большой городъ самого царя, и тамъ большіе люди будутъ пытать ея сына. Ее никакъ нельзя было убѣдить, что пытка и испытаніе не одно и то же. У Соловейчика въ жилетномъ карманѣ довѣрчиво покоилось два рубля гривенниками, а тринадцать серебряныхъ рублей были зашиты у самой груди, въ самой фуфайкѣ.

Этотъ капиталъ въ 15 рублей на дальнюю дорогу былъ собранъ, во всемъ городѣ, однимъ хорошимъ человѣкомъ, благотворителемъ, общественникомъ, покровителемъ вундеркиндовъ, нѣкіимъ докторомъ Рейфомъ. Онъ вскорѣ же, послѣ этихъ сборовъ и умеръ, и во всемъ городѣ Житомирѣ осталось всего лишь два истинныхъ любителя просвѣщенія, городской голова и казенный раввинъ. Первый вообще ничему не препятствовалъ, а раввинъ никому изъ матерей не отказывалъ новорожденныхъ дѣтей женскаго пола регистрировать на три года позже, а мальчикамъ-подросткамъ прибавлять по надобности по годику, такъ какъ въ третій классъ открывавшейся

тогда въ Житомирѣ гимназіи не принимали моложе 15-ти лѣтъ. Абрамчику же было тогда всего 14 лѣтъ и 1 мѣсяцъ. И кому, въ самомъ дѣлѣ убытокъ отъ того, если юноша проснулся пятнадцатилѣтнимъ? Еще пріятнѣе женихамъ получать невѣсту на три или пять лѣтъ моложе. Серьезный и добрѣйшей души былъ казенный раввинъ въ Житомирѣ. Кому отъ этого убытокъ? .. Немало было въ ту пору другихъ, болѣе серьезныхъ заботъ въ чертѣ осѣдлости.

Судьба, что фараонъ, точно подстерегала съ колыбели дѣтей самимъ Богомъ избраннаго народа... Много ихъ рождалось въ скученной и монотонной чертѣ, въ Балтѣ, Бердичевѣ, Проскуровѣ, Сорокахъ, Гомелѣ, Минскѣ, Пинскѣ. И по частымъ разсказамъ самой мадамъ Соловейчикъ, «съ первой минуты появленія на свѣтъ Божій ея первенца, она боролась за его дыханіе, за его жизнь» ...

— Можете себѣ представить, — часто плакалась она сосѣдямъ, когда ея сыну пошелъ 19-й годъ, — родился онъ полуживой... Не плачетъ и не дышетъ... Не теплый и не холодный... Если бы не наша опытная городская акушерка Шорина!.. Гмъ... Гдѣ бы онъ былъ теперь, сынокъ мой!.. Понимаете, ни на кого не глядя, дала она ему нѣсколько такихъ звонкихъ шлепанцевъ и — обѣими руками она эту крошку вверхъ-внизъ, вверхъ-внизъ, и опять шлепанцы... Я же, какъ сумасшедшая, реву, плачу, кричу... Что онъ

вамъ сдѣлалъ, кричу я внѣ себя, понимаете, что вы убить его хотите? . . А тутъ онъ, солнце мое, и заплакалъ, прямо пискнулъ. . . ожилъ, понимаете! . . А она мнѣ: «Пожалуйста, мадамъ Соловейчикъ, не гордитесь, берите себѣ на здоровье этотъ комочекъ мяса, а? . .» А онъ, золото мое, реветъ, какъ канторъ, и ручками вотъ такъ. . . вотъ такъ. . . Да, да, скажу я вамъ, Богомъ избранный народъ. . . Больно, конечно, все это, но за то какъ сладко. . .

Розовый малюсенькій клочокъ живого тѣла самой природой, черезъ акушерку Шорину, предназначался для серьезныхъ битвъ, и тренировка Соловейчика дѣйствительно не прекращалась съ перваго же часа рожденія до его поступленія въ списокъ процентныхъ кандидатовъ, борцовъ на культурномъ фронтѣ. . . Удушливыхъ газовъ тогда еще не было, но на этомъ участкѣ атмосфера для сыновъ Израиля была и малопроцентная, и удушливая.

Свой несложный багажъ Соловейчикъ оставилъ на Николаевскомъ вокзалѣ и отправился прямо по Невскому въ канцелярію градоначальника, по пути же, точно провѣряя каждаго прохожаго, еще и еще просилъ точно указать ему адресъ онаго очрежденія. Предусмотрительные родители не отпустили своего сына съ голыми руками въ такой большой городъ: за пазухой молодой человѣкъ крѣпко хранилъ рекомендательное письмо отъ самого городского головы города

Житомира. Въ этомъ письмѣ удостовѣрялось, что «Соловейчикъ Абрамъ отличнаго поведенія, первымъ съ золотой медалью кончилъ гимназію, ѣдетъ сдавать конкурсные экзамены въ Технологическій Императора Николая I Институтъ, и Городская управа честь имѣетъ просить Его Высокопревосходительство Господина Градоначальника разрѣшить оному трехнедѣльное пребываніе въ столицѣ до сдачи положенныхъ экзаменовъ». Не каждому разрѣшалось тогда свободное пребываніе въ столицахъ. Абсолютнымъ правомъ пользовались «всѣ прочія вѣроисповѣданія», а изъ черты осѣдлости аптекарскіе ученики, переплетчики и цырульники.

Такая высокая рекомендація изъ Житомира, — можетъ быть, безъ нея обошлось бы проще, но кто же двинется изъ Херсона, Балты, Житомира туда, на Сѣверъ, съ пустыми руками? — такая рекомендація только усложнила процедуру съ удостовѣреніемъ, и Соловейчику предложили навѣдаться черезъ два дня. Въ итогѣ какъ-то случилось, что первую же ночь въ столицѣ житель города Житомира провелъ подъ открытымъ небомъ, въ саду «Аркадіи», въ отдаленномъ углу, въ чревѣ ужасно узкой лодки, прикованной къ вертящейся карусели... Строго было тогда въ столицѣ. Удостовѣреніе было, наконецъ, получено, и Соловейчикъ уже цѣлые дни и ночи просиживалъ надъ своими задачниками, на Пескахъ, во флигелѣ, подъ самымъ конькомъ чердака, въ комнатѣ,

она же и прачешная по четвергамъ, въ квартирѣ бѣлошвейки Москалевой, и терпкій стукъ швейной машины Зингера 13 часовъ въ сутки терзалъ его воспаленный, теоремами и формулами испещренный мозгъ.

Къ августу, ежегодно, отборные сыны Израиля тянулись на сѣверъ, на конкурсные экзамены. Изъ Хотина, Винницы, Кишинева, изъ Могилева на Днѣстрѣ и изъ Могилева на Днѣпрѣ.

Абрамъ Соловейчикъ, — теперь уже значительно труднѣе точно установить, — былъ родомъ не то изъ Житомира Бердичевской губерніи, не то изъ Бердичева Житомирской губерніи. Давно это было, и кто можетъ поручиться, что эти города не превращены теперь въ Демьянскъ или Пѣшковъ.

Въ ту пору, въ старыхъ газетахъ можно было читать, готовилась «военная прогулка» всѣхъ жившихъ тогда въ мирѣ и согласіи европейскихъ державъ на Дальній Востокъ, противъ «Большого кулака». И закончилась эта война, какъ говорилось въ демократическихъ газетахъ, побѣдой всѣхъ противъ одного. Кто-то первымъ перелѣзъ китайскій не то заборъ, не то крѣпостную стѣну; кулаки сдались, и европейскіе участники «концерта» разошлись, каждый съ побѣдой, по домамъ. Не сдавался тогда одинъ Соловейчикъ. Вѣрнѣе, пятьсотъ отважныхъ Соловейчиковъ. Воевать, и упорно, въ тѣ годы продолжали, но не

въ Китаѣ, а на русскомъ Сѣверѣ, подъ стѣнами инженерныхъ институтовъ, ежегодно, не меньше 900 храбрецовъ-соловейчиковъ, въ возрастѣ 19-ти лѣтъ, всѣ не столько мускулами отличавшіеся, — это дѣло обстояло очень плохо, вялыми были эти мускулы у тщедушныхъ юношей со впалой грудью, — сколько волевые, упорные, мозговитые. На полѣ брани обычно оставалось непринятымъ не менѣе 95 процентовъ, а горсточка побѣдителей и до послѣдней минуты не знала, «примутъ или нѣтъ» и какая средняя для нихъ спеціально отмѣтка въ этомъ году, «пять съ плюсомъ» или «пять съ половиной»...

Пять съ половиной... Почему бы не сразу уже шесть? Подъ «полемъ брани» подразумѣвалось обычно въ исторіи Иловайскаго: «въ честномъ бою». А въ неравномъ, въ нечестномъ, когда экзаменаторы, по свидѣтельству очевидцевъ, для «прочихъ исповѣданій» примѣняли одни средства, а для всѣхъ соловейчиковъ невиданную и неслыханную жестокость и специфическую математическую казуистику, — тутъ уже и не поле брани, а просто брань, по словамъ же нѣкоторой части прессы, простое «избіеніе младенцевъ». Пятипроцентный пріемъ считался тогда праздникомъ, и объ этомъ газеты трубили, какъ о «веснѣ»... Но возвѣщенная весна смѣнялась плаксивой и хмурой осенью, и трехпроцентная норма для черты осѣдлости стояла долго и нерушимо. Всего больше жаль было не измучен-

ныхъ и стойкихъ молодыхъ людей, а тщательно подобранныхъ математиковъ-экзаменаторовъ, которые, подобно спецамъ на скотобойняхъ, какъ ни «рѣзали», а къ послѣднему экзамену, къ ужасу самаго ректора, изъ 900 соловейчиковъ все еще набиралось 270 человѣкъ, кто съ круглой пятеркой, кто «пять съ плюсомъ», а нѣкоторые умудрились и «пятерку съ половиной».

Куда же ихъ всѣхъ принять, когда всѣхъ-то мѣстъ на 135 человѣкъ, а іудеевъ можетъ быть принято только 3 процента, значитъ всего-то 4 и 1/20 человѣка? .. Что же тутъ дѣлать бѣднымъ, безпомощнымъ экзаменаторамъ? И начиналась на послѣднемъ экзаменѣ рѣзня по приказу свыше, открытая рѣзня, издѣвательство... И какъ ни валились молодые побѣги, все же оставалось еще изъ всего огромнаго количества одиннадцать человѣкъ и круглое у нихъ «пять съ половиной». А примутъ всего іудеевъ, по усмотрѣнію и выбору начальства, только 4 человѣка...

Экзамены кончились. Кончилось и удостовѣреніе изъ канцеляріи градоначальника. Надо возвращаться домой. У Соловейчика изъ Житомира тоже «пять съ половиной». Какъ же возвращаться съ пустыми руками? ... Не быть принятымъ, погибнуть или же стать самому въ Житомирѣ за стойкой съ галошами... А тутъ еще эти галоши душатъ, запахъ такой, что Абрамчикъ и въ дѣтствѣ задыхался отъ этихъ галошъ...

Нѣтъ. Соловейчикъ не вернется въ свой Житомиръ. Успѣется. Круглая пятерка съ половиной — это тебѣ не фунтъ изюма. Но бѣлошвейка уже отказала въ ночлегѣ, удостовѣреніе, срокъ «свободнаго проживанія отъ сего числа, кончилось также. А тутъ до зарѣзу Соловейчику понадобились еще хоть 2-3 дня. Не могъ же предвидѣть молодой человѣкъ изъ Житомира, что, послѣ такихъ звѣрскихъ экзаменовъ, ему придется еще перелѣзать черезъ заборъ армянской церкви прямо на мощеный такими холодными плоскими плитами министерскій дворъ, прямо во дворъ и въ переднюю самого министра народнаго просвѣщенія, его сіятельства графа Делянова, Ивана Давыдовича Делянова. И въ такое раннее августовское утро. . .

На эту работу понадобилось, включая тщательный осмотръ мѣстности и частое простаиваніе на Невскомъ, рядомъ съ магазиномъ Суворина, у высокихъ желѣзныхъ воротъ, день-другой. . . Полное муки и испуга сѣро-желтое и худое лицо Соловейчика показалось министерскому швейцару не столь знакомымъ, сколь мертвенно-блѣднымъ, жалостливымъ, просто страшнымъ. Настолько, что тотъ сначала опѣшилъ: — откуда и зачѣмъ въ эдакій часъ могъ проникнуть этотъ несчастный, продрогшій совсѣмъ отъ голода, истощенный нищій? . .

Жалости не лишены были и холодныя прямоугольныя сѣрыя плиты министерской передней, и

швейцаръ Кириловъ, въ ранней, орлами обшитой ливреѣ, участливо и спокойно усадилъ у себя совсѣмъ отъ холода дрожащаго и оцѣпенѣвшаго Соловейчика и, безъ разспросовъ, поставилъ передъ нимъ горячаго чаю, чернаго хлѣба и масла... Прямо изъ сырой, безсонной Аркадіи да въ министерскіе покои, въ комнату швейцара со столькими благоухающими образами, въ такое тепло... А за окномъ швейцара робко и радостно играло уже раннее солнце и золотило сверкавшую, яркую травку во дворѣ, пробивавшуюся сквозь швы холодныхъ и плоскихъ плитъ...

Министерскій швейцаръ Кириловъ все давно знаетъ, знаетъ, изъ всѣхъ мѣсяцевъ, особенно августъ, и каждогодно въ этотъ мѣсяцъ, на своемъ важномъ контрольномъ посту, пропускалъ и выпускалъ онъ къ его сіятельству и назадъ много плачущихъ людей... Кириловъ также знаетъ, что сюда, въ августѣ, послѣ экзаменовъ, приходятъ «пятерки съ половинами» и что однажды его сіятельство «дюже смѣялись и серчали на эти половинки»...

Кириловъ все понялъ и ждалъ, чтобы молодой человѣкъ успокоился, не дрожалъ бы такъ, не дергался бы, отогрѣлся бы...

— А вы, господинъ студентъ, еще откушайте горячаго чаю, да хлѣба... и сахару кладите побольше, еще кусочекъ сахару... дозвольте, самъ положу... не страшно?.. Ничего... Пятерочку

съ половинкой имѣете-съ? — совсѣмъ ужъ участливо — даже съ нѣкоторымъ почтеніемъ, не въ видѣ вопроса, а какъ непреложный фактъ, — не разспрашивалъ, а утверждалъ всякіе виды видавшій Кириловъ. . .

— Ихъ сіятельство графъ добрѣйшей души человѣкъ, но дюже много, послѣ экзаменовъ, вашего брату приходютъ. . . Иной разъ приказъ не пущать, устаютъ ихъ сіятельство! . . Я васъ, господинъ студентъ, первымъ выпущу къ графу. Только, Боже сохрани, ежели скажете, что брата вашего много въ пріемной дожидается. . .

Соловейчикъ сразу обѣщалъ, да вѣдь никого, кромѣ него самого, вокругъ и нѣтъ. Кириловъ рѣшилъ, что молодой человѣкъ не все понялъ.

— Безпремѣнно набьется къ одиннадцати вашего брата страсть какъ много. . .

Блюдце съ чаемъ накренилось, Соловейчикъ чуть со скамьи не привскочилъ и только и могъ уставиться удивленными и молящими глазами на Кирилова.

— Не извольте безпокоиться. . . Вотъ вамъ уже въ руки и билетикъ, номерокъ, видите, первый. . . Намажьте еще маслица. . . еще чашку горячаго чаю откушайте, а я тѣмъ часомъ газеты, почту раскладу. . . на столѣ у его сіятельства. . . Газетку прочитать не угодно ли-съ? . .

И впервые попалась Соловейчику огромная газета «Новое Время» и тамъ же изъ хроники ус-

пѣлъ онъ прочитать, что «изъ явившихся къ конкурсамъ 670 человѣкъ израильтянъ 217 человѣкъ сдали на круглое пять, 39 на пять съ плюсомъ и 11 человѣкъ на пять съ половиной. Всего же въ этомъ году пріему подлежатъ 4 человѣка изъ всего количества».

Только всего. Соловейчику показалось въ эту минуту, что строчки слипались... что газета выскальзываетъ... И какой ужасъ... иконы и образа со стѣнъ посходили и стали перешептываться... Господи, какъ бы самому не упасть... не поскользнуться... а чья-то рука, быть можетъ, даже навѣрное, его собственная, подноситъ чашку горячаго чаю къ самому лицу, и кто-то брызгаетъ въ него... Теперь уже лучше... Слава Богу, какъ будто легкій обморокъ прошелъ...

Эти, сверхъ удостовѣренія изъ канцеляріи градоначальника, четыре дня, вновь въ саду Аркадіи, въ чревѣ проклятой узкой лодки, у карусели, были самыми горькими, а потомъ и радостными, и хватило ихъ на всю жизнь Соловейчику. Не такъ безпокоилъ ночлегъ, укрытіе облюбовано надежное. Жутко было днемъ, чтобы лицо и безпомощность не выдали тебя. Ранніе часы уходили на изученіе лошадей на мосту Фонтанки, на Петропавловскую крѣпость, на Адмиралтейскую иглу, на Неву и на простаиваніе на Невскомъ, у высокихъ желѣзныхъ воротъ Армянской церкви передъ министерскимъ домомъ... Къ полудню становилось обычно не по себѣ, голова кружи-

лась, тошнило и такъ сухо и кисло было во рту... И Соловейчикъ отправлялся къ раввину за безплатными обѣденными билетиками, оттуда въ еврейскую кухмистерскую, а затѣмъ на концерты въ садъ, въ пріютившую его Аркадію...

Соловейчику дѣйствительно ничего другого не оставалось, какъ, крѣпко прижимая къ груди бумагу про «пять съ половиной», перелѣзть черезъ заборъ прямо во дворъ къ министру, и дворъ такой мытый, прохладный, съ такой изумрудной травкой навстрѣчу утреннему солнцу... Развѣ къ самому министру можно пройти черезъ калитку? А вдругъ вообще не пускаютъ... Кто знаетъ? Не возвращаться же домой, въ Житомиръ, не повидавши его сіятельства, министра народнаго просвѣщенія, портретъ котораго такъ обѣщающе глядѣлъ со стѣны въ кабинетѣ директора Житомирской гимназіи...

Абрамъ Соловейчикъ всю жизнь будетъ носить Кирилова въ сердцѣ своемъ.

Кириловъ все приготовилъ, все въ строгомъ порядкѣ разложилъ въ кабинетѣ его сіятельства и явился на свой постъ совершенно инымъ, начисто выскобленнымъ. Накрахмаленный воротникъ, бѣлыя перчатки, длинная, почти новая ливрея съ галунами и орлами придавали ему видъ увѣреннаго въ себѣ сановника, который одинъ знаетъ, когда и что сказать его сіятельству министру...

— Какъ записать изволите фамильицу вашу? — мягко такъ, совсѣмъ неслышно, откуда-то появился вдругъ Кириловъ къ новоявленному.

— Соловейчикъ. . . Соловейчикъ Абрамъ изъ Житомира. . . и. . . и. . . позвольте пожать вашу руку! . . Если можно, припишите, вотъ тутъ сбоку, сдѣлайте, ради Бога, отмѣточку, чтобы господинъ министръ сразу видѣлъ пять съ половиной! . . Его сіятельство уже понимаетъ, что это обозначаетъ. . .

— Да что его сіятельство, — чуть обидчиво, съ нѣкоторой нескрываемой гордостью, полный достинства, замѣтилъ Кириловъ, — и мы не вчерашніе, 38 годовъ мы на посту народнаго просвѣщенія. . . Дайте, господинъ Соловейчикъ, ваши бумаги. . . Вотъ такъ и положу ихъ первыми передъ его сіятельствомъ. А затѣмъ, пожалуйте-ка, слѣдуйте за мной. . . мы васъ акуратъ передъ кабинетомъ его сіятельства и посадимъ. . . Вотъ тутъ и посидите. . . А какъ позвонютъ. . . Мы тутъ и того. . .

Соловейчикъ отъ вновь нахлынувшаго волненія, отъ недоѣданія и сырыхъ ночей, слабо соображая, весь въ лихорадочномъ огнѣ, покорно и не совсѣмъ твердо слѣдовалъ за Кириловымъ во внутренніе покои, минуя общую пріемную. . . Только темно-зеленыя, такія густыя и тяжелыя, бархатныя портьеры да маленькая, полутемная комната отдѣляли Соловейчика отъ кабинета его сіятельства.

— Вотъ и посидите, господинъ студентъ, въ этомъ креслицѣ, а тамъ, какъ звонокъ, вы все, что на сердцѣ, и скажете графу, сладчайшей души человѣкъ...

Соловейчикъ отъ министерскаго швейцара впервые узналъ, что онъ «студентъ». Гдѣ ужъ... Надо сначала графу сказать все, что на сердцѣ... Сердце... Гдѣ же оно? Его будто и не стало... не бьется... И такъ пусто. А зачѣмъ зашевелились эти тяжелыя драпри?.. Соловейчика отъ графа и отъ рѣшительной судьбы отдѣляютъ какіе-нибудь десять шаговъ... еще полчаса... а можетъ, и вовсе пять минутъ... Что-то зашевелилось... Шаги?.. Какъ будто звонокъ!.. А вдругъ къ нему, безъ всякаго звонка, исподтишка, изъ-за тяжелыхъ драпри, выйдетъ самъ министръ!.. А Кирилова вблизи нѣтъ... Только бы твердо стояли ноги... а вдругъ не выдержатъ... вдругъ Соловейчикъ повалится въ ноги его сіятельству... Вѣдь минута рѣшающая... И не замѣчаетъ онъ, какъ кисти рукъ стали сами по себѣ двигаться... а лобъ мокрый... и сердца нѣтъ на мѣстѣ... Такъ вдругъ стало внутри неспокойно и пусто... Господи! Черезъ полчаса. Черезъ двадцать минутъ уже одиннадцать и вдругъ звонокъ!.. Что тогда... Соловейчикъ хотѣлъ было подняться... Какой онъ грузный, нелѣпый сталъ, не можетъ онъ подняться... Да, не можетъ... А гдѣ-то раздаются звонки... Но Соловейчикъ комкомъ соскальзы-

ваетъ... онъ явно это видитъ... но ничего не чувствуетъ... продолжаетъ скользить съ кресла... а кричать... кричать также не можетъ... «Дюже слабый», туманно вспоминаетъ онъ такое участливое слово Кирилова. Отчаянное усиліе воли, острая боль отъ запущенныхъ ногтей въ кожу лба, и Соловейчикъ вновь усѣлся въ министерское кресло... въ себя пришелъ... Звонка больше нѣтъ. Вѣроятно, новые визитеры, такіе же, какъ онъ, повалили, пріемную наполнять стали... Господи, я всю жизнь, по утрамъ, молился Тебѣ... Укрѣпи хоть на полчасика, въ эту важную для всей моей несчастной семьи, торжественную минуту, укрѣпи мое сердце! Предстать бы только предъ господиномъ министромъ и сказать ему все... все... Только бы дойти до кабинета и не повалиться въ ноги... Вѣдь ужасъ-то какой!.. И слова сказать не успѣешь... Не услышитъ тогда министръ... А скажетъ онъ, Соловейчикъ, не много, но самое важное... и сразу... Ноги точно резиновыя... Только бы не упасть... Это и есть самое главное...

— Пожалуйте, господинъ Соловейчикъ, къ ихъ сіятельству! — Кириловъ ужъ тутъ, возлѣ рядомъ, и — откуда онъ, Кириловъ, появился?.. И звонка тоже не было... Пожалуйте, съ Богомъ, и ничего страшнаго... Пять съ половиной!..

Кириловъ широко распахнулъ эти тяжелыя, очень тяжелыя драпри... И въ далекомъ углу, не

за столомъ, а за пюпитромъ, стоитъ, чуть нагнувшись надъ бумагами, маленькаго роста, съ такимъ привѣтливымъ, съ розовымъ отливомъ лицомъ, такой уютный, всемогущій человѣкъ, самъ министръ народнаго просвѣщенія, его сіятельство графъ Деляновъ, Иванъ Давыдовичъ Деляновъ.

И Кириловъ, какъ имѣющій право опираться на долгія и прочныя симпатіи къ нему самого шефа, докладываетъ такъ тихо и ласково, нѣтъ, какъ будто съ улыбкой, какъ показалось Соловейчику.

— Ваше Сіятельство... Соловейчикъ... Изъ Житомира... Первый конкурсникъ. Пять съ половиной, — отчеканилъ Кириловъ. Соловейчикъ положительно запомнилъ эти слова изъ устъ Кирилова.

— Такъ ты, Кириловъ, рехнулся... Такихъ отмѣтокъ не бываетъ, — добродушно, такимъ мягкимъ свѣтомъ новолунія, во всю ширину разсмѣялось его сіятельство... — Ты что же... почему все это знаешь, Кириловъ?..

— Мы, Ваше Сіятельство, въ одномъ полку съ ихъ отцомъ служили! Исправный былъ солдатъ ихъ батюшка... Солдатъ извѣстнѣйшій!.. А вотъ и бумажечки... Такъ и есть... Такъ и есть... Печать и подпись начальства... Пять съ половиной, Ваше Сіятельство! Сынъ солдата, можно сказать, иначе не бываетъ... Извѣстнѣйшій былъ служака, солдатъ вотъ какого роста,

гренадерскаго! .. Ваше Сіятельство! .. Съ половинкой! ..

Кириловъ отвѣсилъ почтительнѣйшій поклонъ и мягко закрылъ за собой драпри. Кажется, еще что-то пріятное, очень пріятное пробормоталъ Кириловъ, но Соловейчикъ, въ огнѣ, ничего не понялъ... Его отецъ... извѣстный солдатъ? .. И огромнѣйшаго роста... Господи, Господи! .. Да что же это? .. Загубилъ! ..

Соловейчикъ ясно помнитъ, что у его отца нѣтъ лѣвой ноги... кажется, никогда у него двухъ ногъ и не было... И бѣдная мама какъ-то давно... очень давно... шепотомъ, чтобъ отецъ не слышалъ, вскользь сказала... горько всплакнула... что какъ разъ, до призыва, до отбытія воинской повинности, какой-то родственникъ, спеціалистъ, чтобы оградить отца отъ всѣхъ этихъ повинностей, скоблилъ у него не то колѣно, не то пятку, — словомъ, пришлось ногу отнять... Господь милостивъ, хоть другая осталась...

Соловейчикъ давно-давно забылъ объ этомъ... Никогда отецъ его! .. Боже мой, не былъ никогда отецъ его, Соломонъ Соловейчикъ, солдатомъ, а про ростъ лучше не говорить... Какой ужъ гренадерскій! ... А тутъ Кириловъ! .. Какой ужасъ! Такъ прямо въ глаза самому министру! .. Погубилъ! .. Погубилъ! ..

И снова отлетѣлъ духъ... и такъ хочется присѣсть... зацѣпиться за что-нибудь... Не цѣп-

ляться же за драпри, а по близости ни дивана, ни стула... И Соловейчикъ уже явно слышитъ шаги приближающагося къ нему министра... И ничего вдругъ, какой ужасъ, не видитъ Соловейчикъ... и ноги стали непослушны, и онъ... Господи, Боже мой... падаетъ въ бездну... колѣни проклятыя сгибаются... онъ на ногахъ... онъ еще пока на согнутыхъ колѣняхъ... но еще секунда, и голова въ ногахъ... онъ уже весь согнулся... и такъ и не удержался... И лепетъ... И слова... И мольба...

— Ваше Сіятельство... Ваше Сіятельство!.. Я погибаю... Не могу... Прочтите... Я не выйду... Я умру... Пять... Пять съ половиной... И всѣ у насъ, у меня дома, нищіе... прямо голодные... И я всего на всего одинъ... одинъ я... ихъ кормилецъ... Пять съ половиной... Примите меня... Ваше Сіятельство... Мой несчастный отецъ не вынесетъ этой обиды... Сынъ его знакомаго помѣщика Чихачева тоже инженеръ...

И никакія усилія воли не могли унять, прекратить ни слезы, ни всхлипыванья.

— Встаньте. Встаньте, молодой человѣкъ... Вотъ такъ... осторожно... Слабый вы очень... Вашъ отецъ былъ славнымъ солдатомъ нашему Государю Императору... Отлично. Совсѣмъ хорошо. Прекрасно...

Министръ опять углубился въ бумаги Соловейчика.

— Такъ и есть. Пять съ половиной? Половина? Съ ума, съ ума сошли они тамъ! .. Въ Технологическій держали. .. Ничего не надо больше говорить, господинъ Соловейчикъ. .. Все ясно.

И ничего не ясно господину министру. Соловейчикъ хочетъ, долженъ такое важное еще сказать про отца своего. Но министръ не велитъ говорить, проситъ успокоиться. . .

— А скажите. . . — перебиваетъ вдругъ министръ мысли Соловейчика. . . — много вашего брата въ пріемной?

— Не видалъ, Ваше Императ. . . Ваше Сіятельство. . . Не. . .

— Ну да ладно. Да. . . да. . . Что же мнѣ съ вами дѣлать. . . Куда мнѣ дѣвать васъ всѣхъ? А чѣмъ теперь отецъ вашъ занимается?

Соловейчикъ, занятый въ эту минуту исключительно роковыми вопросами, успѣлъ, не сообразивъ, робко отвѣтить:

— Служитъ, Ваше Сіятельство. . .

— Вотъ и это похвально очень.

Не успѣлъ, не до того было Соловейчику въ эту роковую минуту объяснить господину министру разницу между службой въ галошномъ магазинѣ, что въ сырой, сумеречной, затхлой ратушѣ, и службой хотя бы швейцаромъ при его сіятельствѣ. Соловейчикъ почувствовалъ, что скоро аудіенціи конецъ, и сразу, напрягши мозгъ, вымучилъ изъ себя:

— Въ рукахъ Вашего Импер. . . Вашего Сiятельства жизнь. . . Ваше Сiятельство никогда не раскается. . . не пожалѣетъ. . . Я буду знаменитымъ ученымъ. . . И буду съ моимъ отцомъ рядомъ молиться за благоденствiе Вашего Импера. . . Вашего Сiятельства. . .

Министръ опустилъ голову и въ тяжеломъ раздумьи вернулся къ своему пюпитру.

— Зайдите въ среду въ министерство народнаго просвѣщенiя. Тамъ вамъ скажутъ. Ну, идите. . . Прощайте. . . Чего вы стоите? . . Вы обѣщали стать извѣстнымъ ученымъ. До свиданiя.

Министръ сдѣлалъ какую-то помѣтку у себя въ бумагахъ.

Соловейчикъ вышелъ. А Кириловъ проводилъ его тайнымъ ходомъ на дворъ, на тотъ самый дворъ, куда къ министру приходятъ черезъ калитку, а не черезъ заборъ.

— Все будетъ по справедливому, — утѣшалъ Кириловъ. — А въ среду пожалуйте ко мнѣ еще чайку попить. . . Извѣстнѣйшiй солдатъ былъ вашъ батюшка, — и сдѣлалъ при этомъ Кириловъ большiе плутоватые глаза. . .

Въ тотъ же день Соловейчикъ узналъ отъ своихъ другихъ земляковъ, что и имъ самъ министръ приказалъ навѣдаться, и тоже въ среду, въ министерство народнаго просвѣщенiя. Значитъ, не ему одному?! . . Среда не за горами. А реакцiя послѣ всего пережитаго совсѣмъ притупи-

ла остроту съ такимъ нетерпѣніемъ ожидавшейся роковой перспективы.

Въ среду, на лѣстницѣ одного изъ департаментовъ министерства народнаго просвѣщенія, скопилось 27 человѣкъ. . . двадцать семь изъ 670. Въ 12 часовъ были они всѣ препровождены во второй этажъ и разставлены длинной шеренгой, въ длину всего паркетомъ отсвѣчивавшаго коридора.

Къ нимъ вышелъ въ синемъ вицмундирѣ очень крѣпкаго и плотнаго тѣлосложенія человѣкъ, съ рыжей головой на толстой розовой шеѣ, съ круглой густой рыжеватой бородой, товарищъ министра Аничковъ. Онъ развернулъ простой листъ бумаги и прочиталъ, ни на кого не глядя. Соловейчикъ Абрамъ, Аронъ Цурысманъ и Яковъ Делезсонъ. . . къ принятію ихъ въ Технологическій Институтъ никакихъ препятствій не имѣется. Поздравляю.

Откашлялся. Ушелъ.

Соловейчикъ прямо изъ министерства отправился къ Кирилову, «сослуживцу» его отца. По пути, у самыхъ воротъ, встрѣтила его одна молодая, очень красивая, гордость Житомира, курсистка и въ оцѣпенѣніи остановилась.

— Соловейчикъ! Вы? . . Да что съ вами? Да на васъ лица нѣтъ. . . Отъ васъ и половины не осталось. . . Ну, какъ съ экзаменами? . . Господи, отчего вы такой страшный, блѣдный?

— Оттого, что счастливѣе меня никого въ цѣломъ мірѣ нѣтъ и не найти.. И еще сегодня я крѣпко-крѣпко помолюсь за Его Импера... за Его Сіятельство графа Делянова, министра народнаго просвѣщенія. Ура!!!

Дико, истерично и такъ искренне выкрикнулъ все это свѣжеиспеченный студентъ Соловейчикъ и юркнулъ на этотъ разъ не черезъ заборъ, а въ широкія ворота, на министерскій дворъ, прямо въ образную швейцара Кирилова, бывшаго сослуживца его отца...

«2379 ЛЬВИЦЪ И 11 ЛЬВОВЪ»

Четыре года и одинъ мѣсяцъ, итого 49 мѣсяцевъ, бѣгали они по разнымъ частямъ свѣта и странамъ, по разнымъ кафе, гостиницамъ, кондиторскимъ, пансіонамъ и пивнымъ. Заводили знакомства съ шефами ресторановъ и особенно съ портье видныхъ отелей. Отъ нихъ узнавали они, кто что изъ пріѣзжихъ продаетъ, покупаетъ, мѣняетъ. . . Цѣлыми днями бѣгали они, продавали, покупали, чаще всего покупали. . . Разъ человѣкъ покупаетъ, торгуется, въ кредитъ не проситъ, значитъ. . .

Покупали они и продавали въ одно и то же время, чаще всего, какъ это тогда, послѣ войны, практиковалось, на «честное слово» и съ «лимитами» и съ «лимитидами» на 24 часа. Результаты отъ всей этой работы были самые жалкіе, ибо,

какъ казалось имъ, главное ихъ несчастье въ томъ, что работали они вразбродъ, спросъ обгонялъ предложеніе, предложеніе же — вдругъ за недостаткомъ товаровъ — трактовалось обычно «форсмажоромъ», и тогда и покупатель, и продавецъ освобождались отъ честнаго слова, а за выпитые и съѣденные чай, сосиски и картофельный салатъ расплачивался уже другой, тутъ же сидящій, очень нервный, нетерпѣливый, новый покупатель. . .

Не было тогда ни нормальной торговли, ни нормальной жизни. Догорали еще тогда тлѣющія дороги, поля, и люди высвобождались изъ-подъ обломковъ, изъ пепла. Всѣ чего-то искали, каждый искалъ утерянное и растерянное, и разрозненные, распыленные, полусемейные и полувдовые, растерявшіе, послѣ побѣдъ и пораженій, семьи — искали вокругъ себя, искали обоняніемъ, глазами, ушами, и находили только себѣ же подобныхъ, полуживыхъ, полуискалѣченныхъ, чудомъ уцѣлѣвшихъ и питавшихся Божьей милостью, гдѣ и чѣмъ попадется. Уцѣлѣла одна торговля и всѣ «торговали».

За холодными мраморными столиками кафе продавались и покупались одной масти 7800 венгерскихъ жеребцовъ для арміи Бермонда-Авалова, два милліона верблюжьихъ башлыковъ, 2956 германскихъ пулеметовъ, всего только три тысячи верблюдовъ для какихъ-то африканскихъ легіоновъ, всего только 700 тысячъ сабель и 200

тысячъ тоннъ настоящей козьей шерсти. Люди же, «очень извѣстные купцы» изъ Стокгольма, останавливавшіеся въ «Адлонѣ», привозили съ собой обычно полмилліона бочекъ селедокъ и полмилліона тоннъ целлулозы. . . Трудно сказать, кто на этихъ операціяхъ наживалъ, еще труднѣе установить, состоялась ли хоть одна сдѣлка, но опредѣленно наблюдалось, что и продавцы, и покупатели питали другъ къ другу почтеніе и уваженіе и, чѣмъ крупнѣе былъ «продавецъ», тѣмъ чаще платили за его кофе покупатели. . .

Даже въ самые спокойные дни, по субботамъ и воскресеньямъ, «торговля» по телефону не отдыхала, и дѣльцы покрупнѣе, изъ «Адлона» и «Бристоля», демонстрировали по телефону свои «связи» съ Голландіей, гдѣ осталось у нихъ на складѣ еще «7 милліоновъ солдатскихъ грѣлокъ» и «7 милліоновъ ручныхъ гранатъ»: «имѣется, правда, еще 19 дальнобойныхъ, но они уже почти что проданы Уругвайской республикѣ». . . Эти же гранаты и грѣлки превращались къ вечеру въ 3800 сабель и 50.000 бочекъ парафина. Люди только тѣмъ и жили, что покупали, продавали. . .

Работать дальше, въ одиночку, вразбродъ, не будучи въ состояніи на лету схватывать и удерживать всѣ тайны столь частыхъ и ходкихъ предложеній, становилось все труднѣй, и три земляка, три недавно еще другъ другу незнакомыхъ знакомца, предлагавшіе за полчаса другъ другу кто сабли, кто парафинъ, кто сто тысячъ

пудовъ настоящихъ церковныхъ свѣчей, кто 2695 кольтовъ, конечно съ «лимитами« и на «честное слово», — эти три пріятеля, полуголодные и усталые, почувствовали вдругъ другъ къ другу безмѣрную жалость и сердечную симпатію, и Самуилъ Абрамсонъ сразу предложилъ «основать свое собственное G. m. b. H. (Общество съ ограниченной отвѣтственностью) въ 125 милліардовъ марокъ» . . . Такъ-то оно надежнѣй, и работа не пахнетъ улицей. Риска никакого.

Нарсесъ Нахимянцъ тутъ же вспомнилъ, что у него остались подъ Баку нефтяные участки, и не худо было бы вывести на рынокъ этотъ новый захватывающій товаръ. . . Что оставалось дѣлать Ивану Гребенкину? Къ его тремъ милліонамъ башлыковъ и козьей шерсти никто рѣшительно никакого интереса не проявлялъ, и Гребенкинъ первый этому радовался, — предлагаемая до обѣда цѣна въ четыре милліона за штуку превращалась послѣ обѣда въ милліардъ, — гдѣ тутъ держать честное слово, кто ужъ тутъ подсчитаетъ барыши. И Гребенкинъ благоразумно разстался и съ саблями, и съ парафиномъ, и съ башлыками, оставивъ за собою, какъ за «горнякомъ», никому еще неизвѣстную область, — онъ, Гребенкинъ, одинъ знаетъ, гдѣ на Уралѣ и въ Волынскихъ лѣсахъ закопаны цѣлыя богатства, сокровища князей Демидовыхъ и графовъ Вилкомирскихъ. . .

Абрамсонъ внимательно выслушивалъ своихъ

компаньоновъ, онъ по долгому опыту зналъ цѣну всѣмъ этимъ «акутнымъ товарамъ», хлѣбъ же свой удавалось ему раздобывать, такъ сказать, идейно, инициативно, съ налету, комбинированно. . . Услышитъ, что фабрикантъ Морицъ очень хотѣлъ бы получить совѣтскій заказъ, такъ «докторъ» Самуилъ Абрамсонъ предложитъ этому запутавшемуся въ совѣтскихъ махинаціяхъ фабриканту не менѣе десяти совѣтовъ и комбинацій, и, смотришь, что-то выходитъ. Выходитъ, собственно, то, что вышло бы и безъ совѣтовъ Абрамсона, но фабрикантъ дорожитъ и совѣтскими заказами и старыми «связями» доктора Абрамсона, и охотно платитъ онъ одинъ-два процента такому совѣтнику, да еще со связями. . .

Протекали долгіе, безрадостные и безхлѣбные мѣсяцы для этого новоучрежденнаго общества.

Какъ-то Гребенкинъ уныло замѣтилъ, что его тетка вторично вышла замужъ за одного совѣтскаго комиссара, въ самой Москвѣ. А Нахимянцъ, безъ особой гордости, также обронилъ, что его землякъ Назарьянцъ, завѣдующій отдѣломъ землечерпалокъ, скрывался въ квартирѣ его дяди еще въ первые дни «великой безкровной».

Абрамсону стоило большихъ усилій спокойно дослушивать этихъ двухъ «кретиновъ», компаньоновъ своихъ. . . Абрамсонъ преисполненъ былъ явнаго презрѣнія къ этимъ слабомыслящимъ элементамъ и довольно неучтиво оборвалъ ихъ,

— Какъ??! Повторите... повторите еще разъ!.. Замужемъ за самимъ комиссаромъ?!.. Родная тетка?.. А тотъ, какъ его... Назарьянцъ, говоришь, скрывался отъ великой революціи въ квартирѣ твоего родного дяди, и ты молчишь, — а теперь этотъ Назарьянцъ совѣтскіе заказы подписываетъ?.. Такъ я васъ спрашиваю, — не идіоты мы?!.. Шутка сказать, съ самимъ комиссаромъ въ родствѣ!.. И послѣ этого сидѣть съ голодомъ въ желудкѣ и глядѣть на какія-то ржавыя сабли и церковныя свѣчи!..

Компаньоны не прониклись еще созрѣвшими планами Абрамсона. Но Абрамсонъ не успокаивался. Не каждый можетъ открыто и честно передъ фабрикантомъ хвастнуть родствомъ, а вотъ онъ, Абрамсонъ, ихъ общество, теперь можетъ!..

— А если они даже и не комиссары, чортъ бы ихъ побралъ, допустимъ, они просто «спецы», — что же мы сидимъ, я васъ спрашиваю, что же мы это сидимъ, идіоты вы эдакіе!.. Живутъ же тысячи людей отъ этой проклятой совѣтской торговли. Чѣмъ мы хуже ихъ?..

На это усталый и пассивный Гребенкинъ деликатно просилъ не разглашать его семейной тайны. Ему, молъ, все равно никто не повѣритъ, такъ какъ всѣ посредники по совѣтскимъ дѣламъ давно ужъ по нѣскольку разъ перевѣнчали и породнили всѣхъ комиссаровъ со своими сестрами, тещами, даже съ собственными женами. Доходили, въ погонѣ за хлѣбомъ, даже до кровосмѣситель-

ства, а фабрикантъ всему вѣритъ, ибо въ СССР «все возможно»...

Впервые за рядъ весьма тяжелыхъ полуголодныхъ лѣтъ Абрамсонъ въ дни особо острой нужды сталъ замѣчать, что въ немъ прорываются иногда какія-то «творческія возможности», не шаблонныя идеи, а дѣловой восторгъ, вдохновеніе, что онъ можетъ, напримѣръ, убѣдительно и долго говорить... И такъ убѣдительно, что даже самъ начинаетъ себѣ вѣрить... Собственно Абрамсонъ давно ничему и ни во что не вѣритъ, конечно, кромѣ еще только Бога Израиля, безъ чьей помощи — ни до порога... Вѣрилъ бы Абрамсонъ еще крѣпче, еще глубже, если бы его семья, одиннадцать душъ, подумайте, одиннадцать ртовъ, была бы сыта хоть три раза въ недѣлю.

Дѣла не поправлялись, шли на убыль, на явный голодъ. И не мудрено! Слишкомъ злоупотребляли другіе посредники и «совѣтскими связями», и кровнымъ родствомъ съ отцами, сестрами и племянницами совѣтскихъ комиссаровъ... Дѣла все же не двигались впередъ, хотя и находились охотники до зарытыхъ на Уралѣ сокровищъ князей Демидовыхъ и по этому дѣлу состоялись даже кой-какія нотаріальныя соглашенія, — Гребенкину 25 проц., а 75 проц. кладоискателю, но, какъ до аванса, такъ и назадъ. Нефтяные участки Нарсеса Нахимянца тоже какъ-то не внушали довѣрія, ибо конкуренты его, «Англоперсидская

Компанія», «Шелль» и «Рокфеллеръ», давно законтрактовали черезъ какого-то Хаима Саида «всю Бакинскую и Грозненскую нефть» . . . Притомъ вышло недоразумѣніе съ однимъ нефтяникомъ, уплатившимъ незначительный авансъ, но впослѣдствіи потребовавшимъ вдругъ отъ Нахимянца вещественныхъ доказательствъ родства съ самимъ Сталинымъ, иначе онъ предастъ Нахимянца прокурору по статьѣ «о вовлеченіи въ невыгодную сдѣлку».

И два компаньона ушли. Порѣшили поскорѣе уйти. Одинъ съ тайно зарытыми сокровищами, другой съ нефтяными участками. Они ушли въ Лондонъ. Они слыхали, что Лайола Джорджъ и Санбернаръ поддерживаютъ въ Англіи великую легенду о неисчерпаемыхъ богатствахъ и возможностяхъ СССР. . .

— Несчастные, куда вы еще прете?. . . Мало вамъ Стамбулъ. . . Бѣлградъ. . . Копенгагенъ. . . Осло. . . Гельсингфорсъ. . . Бухарестъ. . . Берлинъ. . . Принцевы Острова. . . Галлиполи. . . Данцигъ? . Іезуитъ этотъ Лайола Джорджъ вамъ еще понадобился или этотъ. . . рыжій. . . шутникъ и циникъ. . . какъ его, Санбернаръ. . . Чтобъ имъ уже такъ жилось, какъ намъ! Лучше ужъ не рыпайтесь. . . Держите крѣпко ваши греческие паспорта и — молчите. Съ голоду никто еще не умеръ, вы видите, — и Абрамсонъ еще живъ. . . А если и помремъ, — бѣда какая! . . Умерли же Шекспиръ и Ленинъ! Господня воля! . .

Но компаньоны все же рѣшили сдѣлать послѣднюю ставку на Ллойдъ-Джорджа и Бернарда Шоу и уйти... И тогда еще болѣе одинокимъ почувствовалъ себя Абрамсонъ. Помогли ему все же его «старыя совѣтскія связи» и особенно его точное пониманіе совѣтской системы «разыгрывать» одного фабриканта противъ другого. Послѣ долгихъ, долгихъ поисковъ Абрамсону удалось получить мѣсто вольнонаемнымъ въ одной экспортно-импортной фирмѣ. Фирма жила, торговала и существовала и до Абрамсона на разныя совѣтскія поставки, но обязанность Абрамсона, какъ завѣдывавшаго «Восточнымъ Отдѣломъ», состояла въ чемъ-то грандіозномъ... монопольномъ... Дѣло шло сразу о многомилліонной сдѣлкѣ.

— Съ большевиками надо, господа... Или-или!.. Монополію на спички... Монополію на нефть... масло сибирское... ленъ... кишки... Зачѣмъ отказываться?..

Абрамсонъ въ своихъ докладахъ правленію жестоко обрушивался на «Диктатора», но все же настаивалъ на крупныхъ дѣлахъ съ Совѣтами... А когда онъ говорилъ о монопольныхъ возможностяхъ, о милліонныхъ поставкахъ, имъ овладѣвала какая-то ярость... Вотъ-вотъ схватитъ онъ самого торгпреда за горло и заставитъ его подписать грандіозный совѣтскій заказъ для его фирмы... Увы, заказы не поступали, и къ концу каждаго мѣсяца становился Абрамсонъ нервно

и тревожно активнымъ, созывалъ правленіе на «важное, неотложное засѣданіе» и съ цифрами въ рукахъ доказывалъ возможность ближайшихъ, вотъ-вотъ, крупныхъ поставокъ... Его доклады и цифры «прямо изъ Москвы» тщательно хранились фирмой въ сейфѣ, строго довѣрительно, и всѣ отдѣлы фирмы, благодаря только одному Абрамсону, вновь радостно принимались за работу, отстукивали на машинкахъ, готовя заманчивые для большевиковъ офферты, калькуляціи... И каждый разъ послѣ такихъ энергичныхъ и оптимистическихъ докладовъ жалованье вновь и вновь выплачивалось, но всегда оказывалось, что «проклятая конкуренція» забирала заказы и фирма Абрамсона не получала даже отвѣта на офферты... Абрамсонъ затосковалъ, душевно страдалъ, осунулся, постарѣлъ...

И засыпая, и вставая, тихо молился за свою семью и за свою фирму Абрамсонъ.

— Господи!.. Сжалься... Сотвори чудо... Не оставляй безъ милости Твоей мою семью... Намъ немного надо... Пожалѣй насъ, Милосердный!..

У Абрамсона было основаніе опасаться за судьбу своей семьи.

Какъ разъ сегодня предсѣдатель, подписывая совсѣмъ безрадостный балансъ, пригласилъ къ себѣ Абрамсона...

Легко задавать ему вопросы, — почему не состоялась покупка ста вагоновъ совѣтскихъ яицъ

и куда дѣвался монопольный контрактъ на совѣтскую нефть, или хотя бы на лошадиныя копыта... Что могъ возразить Абрамсонъ? Онъ готовъ былъ бы предоставить своей фирмѣ не только «кишки» и «копыта», — душу свою... Но кому нужна душа Абрамсона?.. И виноватъ ли Абрамсонъ вообще? Не можетъ же Абрамсонъ измѣнить систему «проклятой совѣтской психологіи»?

— Что бы такое «боевое», ошеломляющее предложить своей фирмѣ, — ломалъ себѣ голову совсѣмъ растерявшійся Абрамсонъ, — чтобы продержаться хотя бы еще пять-шесть мѣсяцевъ... всего только шесть мѣсяцевъ, пока не родится новый членъ семьи... О, Господи, Господи!.. Жизнь сама по себѣ, а пути Господни сами по себѣ...

Съ этими мыслями, совсѣмъ близкій къ отчаянію, Абрамсонъ слонялся по улицамъ и машинально забрелъ въ «Зоологическій», — тамъ на свободѣ легче подумать, разобраться, обмозговать...

Грандіозная поставка настолько завладѣла Абрамсономъ, что онъ измученный, усталый, приникъ головой къ холоднымъ прутьямъ львиной клѣтки. И былъ Абрамсонъ не мало удивленъ, что могучій и царственный левъ, на солнцепекѣ, однимъ глазомъ, какое тамъ, одной сотой зрачка, не то презрительно, не то саркастически, но все же очень лѣниво глядѣлъ на него. Когда

же Абрамсонъ, инстинктивно, испуганно отскочилъ отъ клѣтки, левъ такъ рявкнулъ, что бѣдный посѣтитель, незамѣтно для себя, очутился по ту сторону пруда... Левъ долго не могъ успокоиться и рѣшительно шагалъ по діагонали, все время метая огневые взоры на Абрамсона. Постоялъ Абрамсонъ, постоялъ, понаблюдалъ и — и вдругъ что-то его осѣнило, обожгло. Со всѣхъ ногъ бросился онъ вдругъ бѣжать, точно стрѣлой пронзенный, вонъ изъ сада, прямо въ ближайшую телефонную будку, откуда нервно и радостно, едва переводя дыханіе, потребовалъ «лично къ телефону самаго предсѣдателя»...

Господинъ Президентъ!.. Есть!.. Огромная, грандіозная поставка, колоссальный заказъ!.. Я едва отъ радости дышу!.. Что?.. Не слышите?.. Да это же я... я, Абрамсонъ съ вами говоритъ. Огромная поставка, понимаете. Рады, — я думаю!.. Да... да... я говорю изъ кабинета самаго... понимаете... неудобно по телефону... Самъ торгпредъ... обрадовался наконецъ... Конечно, старыя связи рано или поздно!.. Но, глубокочтимый, пока будемъ это соблюдать строго довѣрительно. Въ нашихъ же собственныхъ интересахъ! А то конкуренція... Одна саранча... Да... да... помогли мнѣ старыя... старыя связи... Фу!.. Прямо задыхаюсь... Поставка колоссальна!.. Сижу у него же... понимаете... у него въ кабинетѣ и... по телефону... Я не могъ это радостную вѣсть отложить на завтра... Вамъ

первому счелъ я моимъ пріятнѣйшимъ долгомъ сообщить немедленно! .. Что? .. Какъ вы сказали... Не слышу... А! .. Понялъ... Задатокъ?! .. Какъ? .. Такая огромная поставка, а вы о задаткѣ? .. Вы спрашиваете, какая поставка... какія машины? .. Вотъ не ожидалъ. Не все ли равно, что мы имъ будемъ поставлять? .. Я далъ моимъ совѣтскимъ друзьямъ торжественное слово... слово эмигранта, родители котораго оставлены тамъ въ заложникахъ... что мы не обмолвимся никому объ этой огромнѣйшей поставкѣ... Итакъ, до завтра... Созовите вашихъ двухъ генералдиректоровъ. . .И никого больше... Завтра къ 11 утра... И вы убѣдитесь, что Абрамсонъ еще живъ, и фирма наша себя еще покажетъ! ..

И Абрамсонъ, за рядъ безрадостныхъ и неплодотворныхъ лѣтъ тщетнаго искательства совѣтскихъ поставокъ, впервые почувствовалъ себя, въ эти тихія лѣтнія сумерки, удачникомъ и кандидатомъ на маленькое счастье. Во всякомъ случаѣ ближайшіе 6 мѣсяцевъ обезпечены... Абрамсонъ не фантазеръ, онъ только человѣкъ иниціативы, идеи...

Дорожа свободой и спокойствіемъ семьи, Абрамсонъ всегда стоялъ на стражѣ относительной человѣческой честности. Онъ часто доказывалъ своей тещѣ, что каждый человѣкъ обязанъ быть честнымъ, но не смѣетъ умирать съ голоду. И Абрамсонъ, въ тяжеломъ раздумьи, разглядывая

льва, упорно и крѣпко думалъ о хлѣбѣ насущномъ, готовъ былъ за любую соломинку ухватиться... При всей строгости къ себѣ не могъ, рѣшительно не могъ онъ ни въ чемъ упрекнуть себя при внезапной, его самого поразившей, дѣловой вспышкѣ, грандіозной, звѣриной комбинаціи, поставкѣ торгпредству 2379 львицъ и 11 львовъ... Развѣ ненужны имъ львицы и львы, если не для образцовой фермы, то для «хлѣба и зрѣлищъ»? — разсуждалъ, думалъ, прикидывалъ Абрамсонъ, изнемогая отъ усталости напряженнаго творчества и отъ нѣкоторой сумбурной неясности, связанной съ такимъ количествомъ львицъ и львовъ!..

— Покупаютъ же они молотилки!.. Продаютъ же они потроха и кишки!.. Есть же у нихъ «колхозы» и «образцовыя хозяйства», разсадники разныхъ культуръ... Почему же имъ не устроить на совѣтской территоріи львиныхъ питомниковъ? А не гоняться за львами въ сибирскихъ тайгахъ!.. Разводятъ же нѣмцы въ Баваріи или въ Саксоніи лисицъ, кроликовъ!.. А если въ американско-совѣтскомъ масштабѣ, то лучшаго и болѣе грандіознаго не придумаешь, какъ разведеніе, на образцовой колхозной фермѣ, собственныхъ львицъ и львовъ! И чѣмъ госторгъ лучше госцирка?..

Усталый, измученный, засыпающій Абрамсонъ не переставалъ думать о томъ, что доложитъ онъ завтра своей фирмѣ, а главное — что отвѣ-

титъ онъ, Абрамсонъ, одному очень обстоятельному директору, если тотъ, какъ образованный докторъ, спроситъ, почему собственно 2379 львицъ и 11 львовъ?? .. Безпокойныя мысли не даютъ уснуть. Не такъ смущала его эта грандiозная поставка, какъ невольно вырвавшееся изъ устъ его этакое количество звѣрей, — и откуда такiя цифры?! ..

— Господи! Не дай погибнуть! Надо будетъ обязательно заглянуть въ Энциклопедическiй, сколько въ точности львицъ полагается на одного льва.

Усталость, наконецъ, взяла верхъ и Абрамсонъ уснулъ, какъ при тяжкой болѣзни, послѣ перелома. Давно-давно не спалъ онъ такимъ беззаботнымъ сномъ праведника, сномъ человѣка, во всякомъ случаѣ на ближайшiе 6 мѣсяцевъ обезпеченнаго.

На другое утро, ровно въ 11 часовъ, предсѣдатель правленiя, обычно хладнокровный, открылъ съ нѣкоторой торжественной таинственностью засѣданiе, и присутствующiе директора сосредоточенно ждали радостныхъ дѣловыхъ извѣстiй.

Закончилъ почетный предсѣдатель свое слово обращенiемъ къ директорамъ «строжайше хранить въ собственныхъ интересахъ дѣловую тайну»...

— Слово предоставляю нашему уважаемому сотруднику, доктору Абрамсону, получившему

непосредственно изъ Москвы, благодаря своимъ старымъ связямъ, грандіозную для насъ поставку на. . .

Абрамсонъ осмѣлился сегодня впервые перебить рѣчь предсѣдателя. Онъ опасался, что тотъ не сумѣетъ съ должной дѣловой внушительностью преподнести какъ самую многомилліонную поставку, такъ и усилія и цѣнность связей Абрамсона, чтобы директора, эти разсчетливые хозяйственники, не посмотрѣли на дѣло въ корень, со свойственной имъ трезвостью. . . Машины, молъ, всякіе заводы доставляютъ, а вотъ львицъ и львовъ, да еще такое количество — попробуйте-ка, — такой поставки голыми руками не достанешь! Тутъ мало имѣть дѣло съ вліятельными спецами, тутъ надо кровное родство съ самимъ комиссаромъ «Звѣроторга». . . Заказъ самъ по себѣ, но важно вліяніе самого Абрамсона на заказы тамъ, въ самой Москвѣ, о чемъ, конечно, самъ Абрамсонъ не вправѣ, не долженъ говорить, но фирма его должна это почувствовать.

И Абрамсонъ взволнованно и торжественно, держа какіе-то исписанные листки и нѣсколько писемъ изъ «самой Москвы», заговорилъ:

— Господинъ президентъ, господа генералдиректоры, я не хочу, какъ и вы, однихъ словъ, надоѣли намъ слова. . Я хочу васъ поздравить съ грандіозной поставкой и, прежде всего, какъ из-

волилъ правильно замѣтить нашъ президентъ, необходимо соблюсти тайну... Не забудьте, что мои предки, виноватъ, мои близкіе, остались заложниками въ Москвѣ и вообще... Поставка эта, замѣтьте, многомилліонная, — Абрамсонъ отъ волненія отпилъ изъ стакана, — сосчитайте только одного куртажа для фирмы 20 проц. — не сосчитаете!.. Ему же лично, Абрамсону, нужны только первыя 10.000 марокъ, — о тогда, тогда!..

И Абрамсонъ продолжалъ:

— Вчера звонилъ я по телефону изъ кабинета самого... не стану называть имена, и сообщилъ нашему достоуважаемому президенту, что мы получаемъ поставку въ 2379 львицъ и 11 львовъ! А сегодня, съ зарей, около 5 и 3/4 утра, какъ оно и полагается настоящему другу, разбудило меня, по телефону, все то же всемогущее лицо и говоритъ: «другъ Абрамсонъ, увеличьте, пожалуйста, поставку еще на 117 львицъ... Прямо приказъ изъ Москвы... доставить въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ въ Одессу 2496 львицъ и 11 львовъ! Академія Наукъ плохо разсчитала, и теперь только точно выяснено, что 11 львовъ могутъ ровно справиться и съ 2496 львицами». Ну теперь все въ порядкѣ!.. Заказъ, господа, не меньше какъ на 20 милліончиковъ! Это не какія-нибудь турбины, компрессоры, станки, — этотъ товарецъ поставляютъ всѣ. Мы, статья особая, насъ приглашаютъ поставить весь живой и мерт-

вый, — фу, дьяволъ, — весь живой товаръ для совѣтской. . .

— Инвентарь, а не «товаръ», г. Абрамовичъ, — поправилъ его съ улыбкой одинъ изъ директоровъ-хозяйственниковъ.

— Совершенно вѣрно. А пока только на пробу полтора процента львицъ, какихъ-нибудь 37 штукъ и одного льва, пустяки!

Директора и предсѣдатель, давно, рядъ лѣтъ, не платившіе дивидендовъ своимъ акціонерамъ, были немало ошарашены такой милліонной поставкой, а одинъ изъ директоровъ, завѣдывающій финансами. успѣлъ уже карандашикомъ прикинуть, что вся поставка составитъ не меньше двѣнадцати съ половиной милліоновъ.

— Что, — крикнулъ точно ужаленный невѣжествомъ своего начальника Абрамсонъ, — а почему не ровно 25 милліоновъ, почему не содрать съ нихъ за львицу по 10.000 марокъ, а за льва всѣ 20.000?! Нѣтъ, господа, ужъ смѣту предоставьте мнѣ. Если наша фирма теперь не сорветъ съ нихъ, то когда же?!

Лица предсѣдателя и директоровъ выражали восторгъ. Сладостныя мечты, точно шампанское на тощій желудокъ, газовой завѣсой заслонили, затуманили столь простую видимость, и каждый избѣгалъ въ эту минуту ставить Абрамсону точные вопросы. Сами директора боялись обнаружить свое невѣжество. Можетъ, въ самомъ дѣлѣ

на одного льва полагается сто двадцать пять львицъ. . .

Только одинъ предсѣдатель, довольный неожиданнымъ поворотомъ фортуны, съ умиленіемъ замѣтилъ по адресу совѣтскихъ заказчиковъ, какъ у нихъ все строго разсчитано, вплоть до разведенія львовъ и львицъ. Директоръ-хозяйственникъ, хотя и самъ раздѣлялъ упоеніе своихъ коллегъ, не могъ однако не поставить дѣлового вопроса: «откуда мы возьмемъ такое количество львицъ?» Но Абрамсона, носившаго безраздѣльно подъ сердцемъ и на плечахъ своихъ 11 безработныхъ ртовъ, не такъ-то легко было смутить.

— Что вы, господинъ генеральдиректоръ, поставили такой, простите, безпомощный вопросъ? . . Когда въ нашихъ рукахъ будетъ 50 проц. задатка, то я, Абрамсонъ, доставлю вамъ всю Африку, да что Африка, всю Палестину и Аравію! Подумаешь, какихъ-нибудь 2.500 львицъ! . . А зачѣмъ въ Гамбургѣ живетъ извѣстный звѣроловъ Гагенбекъ? Но — я не допущу никакихъ посредниковъ, слышите?! Вся выручка должна пойти въ кассу нашей фирмы, никакихъ никому провизіонныхъ! А если понадобится, то я самъ жизнью готовъ пожертвовать, я самъ поѣду вглубь Африки. . . Я смерти не боюсь, жила бы и процвѣтала бы наша фирма. . . да моя семья! Есть Божье чудо, и безъ Бога ни до порога! Господа, если мы хотимъ милліонной поставки, почему бы не соорудить маленькой

экспедицiи? И охотниковъ немало найдется! Одно, господа, правда, осложняетъ дѣло. Вѣдь совѣтскiй заказчикъ не дуракъ, онъ кота въ мѣшкѣ не купитъ, — ему образцовъ, образцовъ, живыхъ львицъ и львовъ покажи!

Абрамсонъ все больше приходитъ въ ражъ, самъ удивляется, откуда у него вдругъ такая отвага, находчивость, увѣренность. Насчетъ образцовъ призадумался и самъ предсѣдатель фирмы. Куда же ихъ? .. Не водить же этихъ звѣрей на Линденштрассе?! Покончили на томъ, что Абрамсонъ съѣздитъ на этихъ же дняхъ въ Гамбургъ, къ Гагенбеку, и справится, сколько у него на лицо живыхъ львицъ? .. Не найдется ли у него образцовъ?! Нѣтъ, такого количества образцовъ не найдется и у Гагенбека. . .

Правленiе постановило списаться съ Вестъ-Индiей и Африкой, а Абрамсонъ сосредоточитъ въ своихъ рукахъ, какъ всю переписку, такъ и составленiе самого договора съ торгпредствомъ.

И работа конторская, переписка съ Вестъ-Индiей и Африкой, закипѣла подъ руководствомъ самого Абрамсона. Изрѣдка Абрамсонъ, въ присутствiи самого предсѣдателя, звонилъ въ самое торгпредство, велъ съ кѣмъ-то по телефону ожесточенные переговоры, на векселя не соглашался, а только на наличныя, угрожалъ разрывомъ контракта, предупреждалъ, что «соединится съ самой Москвой» и, наконецъ, послѣ долгихъ спо-

ровъ, соглашался на цѣну въ 8.500 марокъ за львицу и 12.750 марокъ за льва. . .

Былъ доволенъ и предсѣдатель. Еще болѣе довольна многочисленная семья Абрамсона.

Шли мѣсяцы. Получались письма съ предложеніемъ услугъ самого Гагенбека, получались заманчивыя предложенія изъ Вестъ-Индіи и даже отъ двухъ магараджей!

Странное дѣло. Чѣмъ выгоднѣй и заманчивѣй, со всѣхъ концовъ свѣта, поступали предложенія, тѣмъ больше терялъ въ вѣсѣ Абрамсонъ, худѣлъ, не спалъ, таялъ, какъ стеариновая свѣчка на сквознякѣ. Хотя семья и убѣждала папочку подумать о себѣ, вѣдь не такъ ужъ плохи дѣла, напротивъ, слава Тебѣ, Господи, — но звѣри не давали покоя: глазастые такіе, съ жуткимъ вспыхивающимъ взоромъ, уставлялись они на него. Какъ ни ворочался, какъ ни засовывалъ подъ самую подушку свою сѣдую голову Абрамсонъ, сонъ не давался и разныя мысли грызли мозгъ и сердце. . .

Чудно, не во всѣхъ областяхъ одинаково мудро устроенъ міръ, особенно этотъ сложный, торговый міръ. . . И есть, по мнѣнію Абрамсона, явленія такія, ощущенія, приключенія, чаянія, и особенно предчувствія, отъ которыхъ, какъ ни вертись, не отвертишься. . . Судьба — одно слово. И какое кому дѣло до того, что эта грандіозная поставка стала то замедлять, то ускорять біеніе пульса у Абрамсона? И какое кому дѣло

до того, что семья какого-то Абрамсона будетъ вообще выкинута на улицу, когда онъ Абрамсонъ, вдругъ глаза закроетъ? Богъ Израиля, услышь семью, семью Абрамсона изъ Винницы... Господь поможетъ. Безъ Бога ни до порога.

Шли мѣсяцы. Директоръ хозяйственнаго отдѣла съ грустью констатировалъ, что и въ этомъ году, какъ за послѣдніе 7 лѣтъ, вновь никакого дивиденда не будетъ, и онъ, съ цѣлью подвинуть поставку для госзвѣринца и ускорить полученіе аванса въ 50 проц. наличными, заѣхалъ, никого въ конторѣ своей не предупредивъ, къ торгпреду, къ самому торгпреду...

Начальникъ торгпредства, представитель единственной въ мірѣ монопольно-соціалистической страны, какъ и полагается, окруженный совѣтниками и соглядатаями, выслушалъ спокойно генеральдиректора, извинился и очень почтительно положилъ свою руку на горячій лобъ посѣтителя... Въ каждомъ торгпредствѣ имѣются, на всякій случай, всякаго рода аппараты, фотографы, психіатры, неврологи.

Но что могли они всѣ подѣлать съ оцѣпенѣвшимъ, лишившимся языка генеральдиректоромъ?! И сказалъ, едва внятно, генеральдиректоръ, поддержанный психіатромъ и самимъ торгпредомъ:

Ich bin... bin... sprachlos... los... los...

И лишился чувствъ.

Въ это самое время Абрамсонъ, ожидавшій обычно чуда, доказывалъ все тому же президенту, «строго довѣрительно», что, не будь у него 11 человѣкъ семьи, не сталъ бы онъ рисковать своей жизнью, не поѣхалъ бы онъ, въ обществѣ хотя бы и другихъ охотниковъ, въ самую глубь Африки. Но — многомилліонная поставка и вообще. . .

Событія иногда быстрѣе радіо. Вдругъ звонокъ изъ торгпредства! . . . Голосъ самаго торгпреда!? . . Генеральдиректоръ умеръ отъ разрыва сердца въ его кабинетѣ!-?. . Абрамсонъ инстинктивно бросился къ двери, къ порогу, и на самомъ порогѣ, какъ подкошенный, свалился. Безъ Бога ни до порога. . .

РУССКІЯ ОРХИДЕИ.

...Пою печаль распятой и страдальческой, великой и несравненной Земли. Земли, надъ которой никогда не заходитъ солнце...

Эта земля пережила Гришку Отрепьева, переживетъ и Гришекъ Зиновьевыхъ...

Она знала, въ литературѣ, Булгариныхъ и Горькихъ, но она свѣтила всему міру Достоевскимъ и Толстымъ!

Сегодня свѣтитъ она намъ и новымъ лауреатомъ Бунинымъ!

Страна контрастовъ... Страна «великихъ возможностей»...

Ни въ одной другой странѣ не найти ни «бабушекъ отъ революціи», ни бабушекъ «пореволюціонныхъ»...

Въ какой же еще странѣ глава государства сталъ бы выводить на показъ, на сцену, Катерину — «бабушку Русской революціи»?. . .

И кто поручится, что мы не доживемъ еще до того момента, когда какой-нибудь новый, пореволюціонный, государственный. . мукомолъ (мели, Емеля, твоя недѣля!) снова выведетъ на сцену еще одну такую разновидность, еще одну Катерину. . . бабушку пореволюціонную?! . .

Исторія любитъ подшутить. . . Россія знала дореволюціонную Катерину Великую! Затѣмъ вдругъ. . . Катерина революціонная. А теперь, за рубежомъ уже готовится въ Прагѣ Катерина пореволюціонная. . . Не злая ли это шутка?

Россія, въ проклятые годы войны, знала только своихъ бабушекъ, но не знала, хотя тысячами насчитывала и отъ богатствъ своихъ просто не замѣчала, своихъ юныхъ и прекрасныхъ семнадцатилѣтнихъ Катеринъ! . . А между тѣмъ, гдѣ встрѣтишь дѣвушекъ прекраснѣе русскихъ? Нигдѣ, ни въ какой странѣ, не было этихъ огней, этой удивительной женской молодежи.

И нѣтъ нигдѣ — Зимняго Дворца! . .

Кто все это видѣлъ, у того еще и сегодня стынетъ кровь. . . Какая страна дала бы этихъ цвѣтущихъ дѣвушекъ, которыя шли умирать за призракъ родной государственности, за умирающаго русскаго орла, лишеннаго короны?

Росли онѣ привольно и богато, и на Волгѣ, и у Каспія, и на Уралѣ, и на золотистыхъ ржаныхъ

поляхъ Полтавщины... Въ любомъ провинціальномъ углу были свои дѣвушки, безкорыстно служившія красотѣ, таланту, театру, всему, что хоть на мигъ бросало якорь въ этой глуши и своимъ духовнымъ рефлекторомъ освѣщало застоявшуюся монотонную уѣздную жизнь съ ея нуднымъ оркестромъ на пыльномъ бульварчикѣ лѣтомъ и съ циркомъ зимою...

«Катеринамъ Ивановнамъ», въ годъ войны, въ Петербургѣ, было всего девятнадцать лѣтъ. Сегодня Катерина Ивановна, за рубежомъ, встрѣчаетъ тридцать восьмую осень.. Сегодня, въ день рожденія нѣкогда знаменитаго иностраннаго писателя, на четверть вѣка пережившаго свою славу, Катерина Ивановна съ грустной и благодарной улыбкой встрѣтила тостъ ея больного паціента: «Да здрафтуетъ прекрасни рускій женщина»... Больной писатель имѣлъ право гордиться передъ своими друзьями, также давно сданными въ архивъ писателями-старцами, своей русской «поклонницей», сестрой, съ удовольствіемъ читающей ему его же произведенія, послѣ прочитанныхъ ею Толстого и Достоевскаго!..

Больные, какъ дѣти, капризны, и Катерина Ивановна съ кротостью и терпѣніемъ сестры и чтицы читала больному писателю его же собственныя пьесы, ставившіяся во Франкфуртѣ въ восьмидесятыхъ годахъ... Катерина Ивановна видала въ Петербургѣ и Москвѣ лучшіе годы. Были порывы, муки творчества, на ея глазахъ

рождались, восходили, расцвѣтали чудесныя дарованія, чтобы затѣмъ, послѣ недолгаго опьяненія славой, познать безсиліе творчества низринуться въ бездну отчаянія и больше не воскрескреснуть. . .

Ни годы войны, ни недолгія обманчивыя «свободы», ничто не измѣнило Катерины Ивановны, ничто не въ состояніи было погасить этой странной для европейца, но понятной намъ, русскимъ, жертвенной влюбленности въ каждаго, кто выше земли, въ каждаго, кто впервые окропленъ живительной росой столь же мучительной, какъ и обязующей славы. . . Для этихъ обреченныхъ на горѣніе и муку, для этихъ всходовъ искусства, для этихъ геніевъ въ будущемъ, — кто ихъ угадаетъ? — ничего для этихъ дѣтей не жалѣла Катерина Ивановна. Такая свѣтлокаштановая, ясная, чудесная русская дѣвушка, какую только и можно найти въ Тургеневскомъ романѣ или въ высокихъ, золотистыхъ, ржаныхъ поляхъ Полтавщины. Едва семнадцатая весна, и Катерины Ивановны уходили въ Петербургъ! . . Солнечная, съ румянцемъ во всю щеку, жизнерадостная дѣвушка была яркимъ явленіемъ на анемичномъ фонѣ сѣверной Пальмиры, и была она желанной и любимой во всѣхъ студенческихъ и литературныхъ кружкахъ. Благотворительные вечера студентовъ всѣхъ видовъ и сортовъ, технологовъ, путейцевъ, горняковъ, чествованіе знаменитостей, проведеніе на эстраду подававшаго надежды по-

эта, адресъ гастролеру, протестъ Суворину «отъ мыслящаго и возмущеннаго студенчества» за умышленное затиранiе «славнаго трагика нашихъ дней» Бутылкина-Бѣлоголоваго; насильственное врученiе благотворительныхъ билетовъ, — безъ активнаго участiя «Катеньки-Душеньки» никто изъ участниковъ не вѣрилъ въ успѣхъ затѣяннаго. Безъ ободряющей близости «нашей чайки» поэты чувствовали себя передъ выходомъ одинокими, а трагики нервно полоскали горло спиртомъ. Безъ нея не предпринималось ничего. Катерина Ивановна была добра, терпѣлива, настойчива, жаждала успѣха каждому начинающему, и никто другой не могъ такъ деликатно устроить «приглашенiе» на концертъ или вечеръ. Всѣ еще не достигшiе высотъ Олимпа радостно ввѣряли свою судьбу и успѣхъ ея любовнымъ заботамъ, ея тонкому вкусу и ея безконечной добротѣ.

Катерина Ивановна никому не высказывала своего мнѣнiя о прочитанной въ кружкахъ новой вещи или о сыгранной знакомымъ артистомъ новой роли. Да мнѣнiемъ ея никто и не интересовался. Всѣ знали напередъ, что Катенька никому боли не причинитъ. Заранѣе знали ея отвѣтъ: — «Прекрасно! .. Вамъ надо много-много работать. .. Кому много дано. .. и т. д.» Всѣ искали ея дружбы, ея протектората. Одно дѣло печататься въ газетѣ, другое выступать публично. Тебя «просятъ», «приглашаютъ» на благотворительные вечера, рядомъ съ именитыми, на кон-

церты и эстрады, гдѣ сегодня также выступятъ «Вильбушевичъ и Ходотовъ!»...

Чуткая Катерина Ивановна одна во время умѣла подать первые, робкіе, пробные апплодисменты, пріободрить растерявшихся, а въ случаѣ слабаго успѣха убѣдить поэта: «Я своими глазами видѣла, какъ вамъ Марья Гавриловна Савина сама изъ ложи апплодировала.»

Много ихъ было, этихъ свѣтящихся жучковъ. Были подлинные, уже признанные таланты, которые безъ адресовъ, безъ вѣнковъ считали себя несчастными и забытыми. И объ этихъ пробѣлахъ заботилась тихо, тактично и незамѣтно наша Катерина Ивановна. Были и такіе, что, опьянѣвъ отъ первыхъ хрупкихъ успѣховъ и забывъ, что они еще выводки безъ пуха и пера, просили «очаровательную Катринъ» не безпокоиться объ ихъ дальнѣйшей литературной славѣ?... — »Развѣ вы не замѣтили, какъ весь залъ реагировалъ на мое стихотвореніе: «Голосъ мой, что овецъ блеяніе»?.. Катерина Ивановна не обижалась на этихъ заносчивыхъ и забывчивыхъ дѣтей, — вѣдь ей самой ничего отъ нихъ не надо, и ничего для себя она не ждетъ. То, что она дѣлала, она дѣлала для искусства. Она любила чужую зарождающуюся славу и такъ рада была помочь этимъ вспыхивающимъ огнямъ...

Отъ одного она болѣзненно сжималась: отъ грубости. У многихъ «будущихъ геніевъ», увы, недостатка въ этомъ не было...

Много тихаго безропотнаго горя вынесла Катерина Ивановна среди этихъ будущихъ Наполеоновъ. . И еще старалась находить имъ оправданіе.

Не надо было, конечно, ей и виду подать поэту Соскину-Пальмину, что въ его стихахъ слышатся то Блокъ, то Бальмонтъ. Это была съ ея стороны неосторожность. . . Въ одномъ однако она была права, — «это ужъ слишкомъ, это свыше силъ», — Соскинъ-Пальминъ усвоилъ себѣ скверную привычку ругать Пушкина! . .

— Никакъ забыть не можете вашего столѣтняго старца! Пушкинъ да Пушкинъ, а дальше ни тпру, ни ну.

На Катенькѣ поэты вымѣщали и свою благодарность въ видѣ мокрыхъ поцѣлуевъ, и свое безсиліе передъ старцемъ Пушкинымъ. . . Курсы давно забыты, — вѣдь Катерина Ивановна нужна всѣмъ! Поэты, актеры, драматурги, художники приходили, взлетали холоднымъ огнемъ ракеты и уже совсѣмъ безшумно исчезали. . . А Катенька дорого и полностью оплачивала мимолетные, пьяные успѣхи новоявленныхъ знаменитостей. Поэтъ Соскинъ-Пальминъ требовалъ поклоненія и жертвъ:

— Д'Аннуцціо поступалъ бы точно такъ же, — увѣрялъ себя Соскинъ. . .

Развѣ это не честь: поэтъ Соскинъ только ей одной, только Катенькѣ читалъ свои стихи, только она одна видала его слезы вдохновенія! . .

— Если бы вы были хоть Жоржъ-Зандъ, хоть Жоржъ-Зандъ, вы не сидѣли бы такой равнодушной! .. Вы горѣли бы тѣмъ же пожирающимъ огнемъ, какъ я! .. Развѣ всѣ эти ваши Блоки и Бальмонты хоть разъ рыдали въ минуты творчества? Что они въ слезахъ поэта понимаютъ? Пишутъ себѣ и никакихъ! ..

Катерина Ивановна много навидалась на свѣтѣ и по горькому опыту знала, что возражать безполезно, ибо въ результатѣ споровъ, или даже учтиваго несогласія, Соскины-Пальмины будутъ терзать ее образцами собственныхъ, только что испеченныхъ стиховъ, а затѣмъ начнуть на ней же вымѣщать «всю злость и всю досаду»...

— Бросить бы, не пора-ли? Но Соскинъ-Пальминъ скандалистъ, осрамитъ, достанетъ повсюду. Нѣтъ! Все таки уходить!

Въ исканіи заработка и хлѣба Катенькѣ приходилось работать у драматурга Слезкина-Завойскаго и у трагика Зворыкина-Ганибалова. Геніевъ становилось какъ-то меньше, и Катерина Ивановна пробовала свои собственныя силы въ фильмовыхъ съемкахъ... Ахъ, этотъ режиссеръ Перевертовъ-Самодуровъ! .. Боже мой, сколько сердца отдала она каждому изъ этихъ геніевъ! .. Катерина Ивановна рѣшительно была всѣмъ имъ нужна. Только одного не могла она объяснить себѣ, какъ это всѣ они, такіе таланты на сценѣ, въ дѣйствительной жизни были нечистоплотны,

въ ѣдѣ обжорливы, въ обращеніи заносчивы и грубы...

Уходы во время удавались рѣдко. Начиналось мольбами, слезами, угрозами, кончалось водвореніемъ. Одинъ только разъ гладко сошелъ ея побѣгъ отъ моднаго скульптора, и спасъ ее знаменитый басъ, Аркановъ-Заволжскій... Скульпторъ Пиликинъ не довольствовался одной перспективой, но руками, мявшими холодную глину, онъ часто и долго ощупывалъ недававшіяся ему, упругія съ ямочками части позировавшей ему Катерины Ивановны. Уходить!.. Куда хуже обстояло дѣло съ дѣйствительно извѣстнымъ кинорежиссеромъ Перевертовымъ - Самодуровымъ. Этотъ — представьте себѣ! — даже женился на Катеринѣ Ивановнѣ, махнувъ рукой на всѣ кинобогемскіе законы...

— Я и Д'Аннунціо рождаемся разъ въ столѣтіе!.. Катя! Я на тебѣ женюсь!

Ужъ лучше бы, подобно всѣмъ другимъ геніямъ, не женился вовсе. Кто только ни пресмыкался предъ этимъ садистомъ-самодуромъ. Не будь Катерина Ивановна сама неожиданной и случайной свидѣтельницей многихъ сценъ въ бюро Перевертова-Самодурова, она сочла бы сочинительствомъ и клеветой всѣ разсказы про этихъ деспотовъ-режиссеровъ, «Перевертовыхъ и Ко.»

— Какъ это вы можете, Корнѣй Кузьмичъ, раздѣвать и ощупывать актрисъ, точно акушеръ

какой? — не стерпѣла одинъ разъ Катерина Ивановна.

— Успокойся и не ревнуй. Что ты понимаешь въ искусствѣ? Высшее искусство безкостно, безкровно, безтѣлесно. . . Искусство это. . . это. . . эмпирично. . . невѣсомо. . . трансцендентно. . . Да что вы пристали ко мнѣ? Какое вамъ дѣло до моихъ актрисъ? . Искусство требуетъ жертвы. . .

Этотъ бредъ больше не удивлялъ Катерины Ивановны. Геній и безпутство, больше безпутство, чѣмъ геній, обламывали, каждый по своему, тонкіе, нѣжные листья, отравляли жизненный ароматъ, растаптывали неповторимую легенду жизни. . .

Катерина Ивановна! . . Это особый видъ орхидеи, спеціально русской, и европейцамъ эти орхидеи знакомы только по цвѣточнымъ магазинамъ. Эти прекрасныя дѣвушки рождались только въ Россіи, гдѣ, рядомъ съ Пушкинымъ, Толстымъ и Шаляпинымъ, водятся и Гришка Отрепьевъ, и Емелька Пугачевъ, и Гришка такъ себѣ. . . Катерина Ивановна была не одна, ихъ много было въ Россіи, ихъ не мало полегло и у Зимняго Дворца. . . Ибо только въ Россіи, въ чудесной эпической Россіи, только въ Санктъ-Петербургѣ имѣется Зимній Дворецъ! . . Ибо только въ Россіи яркій хрупкій бѣлый снѣгъ окрашивается алой невинной кровью. . . Ибо только въ Россіи дѣвушки отстаиваютъ своей кровью неудачныхъ Наполеоновъ. . . Европейцамъ эти дѣ-

вушки, эти специально въ Россіи выращенныя орхидеи не знакомы. Они свои орхидеи покупаютъ въ магазинахъ.

Всѣ онѣ, эти безумныя дѣти Россіи, горѣли огнемъ жертвенности и тоской по подвигу и красотѣ! .. И сотни влюбленныхъ въ себя, полусумасшедшихъ русскихъ геніевъ, сотни героевъ отъ сцены и политики обогрѣвались у этихъ нетребовательныхъ, жаркодышащихъ каминовъ, получали «приглашенія» на эстрады, вѣнки отъ «признательной публики», адреса отъ «благодарнаго студенчества» и, въ трагическій часъ, дѣвичьи вооруженныя колонны! .. Далеко теперь все это, какъ далеки чествованія забытыхъ юбиляровъ, какъ далеки тѣ подарки, что провинціальные трагики и тенора къ концу каждаго сезона въ каждомъ городѣ сами преподносили себѣ черезъ незамѣнимую Катерину Ивановну, — въ этомъ году отъ «растроганныхъ Волжанъ», а въ слѣдующемъ, тѣ же подарки и черезъ такую же Катерину Ивановну, отъ тонкихъ цѣнителей искусства, «мыслящихъ Кишиневцевъ»...

Катерина Ивановна теперь за рубежомъ... Ушла... Ушла послѣдняя... Все некогда было раньше уходить... Сначала надо было поднимать насоціализованный духъ «христолюбиваго воинства». Потомъ дѣвичьими легіонами подпирать рахитическое Временное Правительство. Потомъ защищать Зимній Дворецъ, а послѣ безпомощно извиваться въ грубыхъ объятіяхъ звѣро-

подобныхъ марксистовъ. Потомъ выноситъ изъ огня раненыхъ въ «бѣлыхъ» арміяхъ и самой валяться въ тифу въ вагонахъ.

Все некогда было «Катеринамъ Ивановнамъ».

Только тогда, когда соціалисты покрыли Русскую Землю колхозно-бѣдняцкими рабами, когда режиссеры Перевертовы оскопили русское искусство, когда въ садахъ Россійской словесности оказались академики Ивановы, Пиликины и Оболдуевы, только тогда «Катерины Ивановны» ушли, ушли послѣдними... И съ ними ушло неизъяснимое вѣяніе русской романтики.

Катерина Ивановна за рубежомъ. Случайно мы встрѣтили ее чтицей у парализованнаго, давно пережившаго свою славу писателя... Даже въ статистки теперь Катерину Ивановну не возьмутъ: худа, блѣдна, безкровна, какъ выжатый лимонъ... Не въ кухарки же ей идти, ей, всю свою молодость отдавшей художникамъ и писателямъ? Счастье еще, — крохотное, блѣдное, бѣженское счастье, — что Катерина Ивановна можетъ жить такъ, какъ живетъ, въ домѣ отъ литературы, въ домѣ больного писателя... Правда, его обошли лѣтъ двадцать тому назадъ Нобелевской преміей!.. Но онъ не такой, какъ тѣ капризные таланты, что ее когда-то мучили. Онъ никого не терзаетъ. Онъ такъ дорожитъ ея заботами, онъ такъ благодаренъ Катринъ, этой «hoch intelligenten und reizenden russischen Frau»...

Писатель не мало намучился, пока онъ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, не затвердилъ къ своимъ именинамъ: «Да драфтуетъ прекраснїй русскїй женщина!». Странно! Но впервые, — не поздно ли? — услышала она подлинное ласковое слво. Въ эту минуту Катерина Ивановна не пожалѣла о прошломъ. Она все простила и ея тихія слезы были не о себѣ самой, а лишь о ней, о ней, истерзанной Родинѣ, чудесной и несравненной Россіи! И была въ этихъ слезахъ не только жалость къ мукамъ, но и вѣра въ грядущее освобожденіе.

Не встрѣчалъ я дѣвушекъ чудеснѣе русскихъ!

Пережила Россія и чуму, и холеру, и татарское иго, и смутное время, и Пугачевыхъ, и Разиныхъ. Переживетъ и Сталиныхъ, и Гришекъ Зиновьевыхъ. Нѣтъ страны прекраснѣе Россіи! . .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Дореволюціоннымъ Петербургскимъ журналомъ «Театръ и Искусство», подъ редакціей извѣстнаго журналиста и критика *Ал. Раф. Кугеля* (Homo Novus) изданъ былъ рядъ оригинальныхъ и переводныхъ пьесъ того же автора *Ал. Пав. Бурдъ-Восходова (Ал. Буровъ).*

Пьесы Гауптмана, Зудермана, Бара, Ведекинда въ переводѣ А. П. Б.-В. игрались долгіе годы лучшими артистами, какъ Императорскихъ, Александринскаго и Малаго, такъ и театровъ Суворина, Корша, Соловцова, Дюковой, Синельникова, Багрова, Незлобина и т. д. и т. д.

ПЕРЕЧЕНЬ:

«Чѣмъ жить» (шла въ бенефисъ Е. Я. Недѣлина съ участіемъ Дарьялъ). «Пророкъ», «Маэстро», «Апостолъ» (играли *Е. Н. Рощина-Ин-*

сарова, Голубева, Юрьева, П. Г. Баратовъ, П. Муромцевъ, Д. Карамазовъ). «Өома Гордѣевъ и Маякинъ», «Докторъ Конъ» («Два міра»), «Суфражистки», «Докторъ на распутьи», «Живите красиво», «Эмансипація въ супружествѣ», «Живые факелы», «Миротворцы изъ Брестъ-Литовска» обошли всѣ лучшіе театры. «Республиканцы» (гастрольная поѣздка Коршевскаго артиста Борисова). «Гибель боговъ» (бенефисъ Муромцева съ участіемъ М. Ал. Юрьевой). «Геніальный дипломатъ» (бенефисъ Людвигова). «Власть денегъ» (шла рядъ сезоновъ у Корша, Дюковой, — во всѣхъ театрахъ). «Древній міръ» («Антоній и Клеопатра»). «Педагоги» (обошли всѣ театры). «Михаэль Крамеръ». «Потонувшій Колоколъ». «Ганнеле». «Честь». «Да здравствуетъ жизнь». «Принцесса Греза», и др. репетуарныя пьесы, оригинальныя и переводныя.

Того же автора поступили въ продажу первая книга повѣстей и разсказовъ подъ названіемъ

«ПОДЪ НЕБОМЪ ГЕРМАНІИ».

Содержаніе: Ротшильдъ, Мендельсонъ и Абраамъ Шнеерзонъ. — Солнце на крови. — Размышленія у чужого камина. — Русскія орхидеи. — Кнокэутъ. — Максъ Рейнгардтъ.

и

«БЫЛА ЗЕМЛЯ».

Складъ изданія:
PETROPOLIS-VERLAG A. G.
BERLIN W 15
MEINEKESTRASSE 19

Для Франціи и Бельгіи:
MAISON DU LIVRE ETRANGER
PARIS VI
9, RUE DE L'EPERON